

Д ж о р д ж Р ю д е
НАРОДНЫЕ НИЗЫ в ИСТОРИИ
1730 – 1848

Перевод с англ. Е.Бухаровой и О.Зелениной
Предисловие и редакция д.ист.н. М.А.Барга

М.: Прогресс. 1984

Веб-публикация: редакторы сайтов Vive Liberta и Век Просвещения 2008

В библиотеке Vive Liberta ранее опубликована главы из этой работы «Французская революция: политический бунт, продовольственный бунт, трудовые конфликты» (<http://vive-liberta.narod.ru/biblio/rude.pdf>), «Лики толпы. Характер волнений и поведение масс. Победы и поражения народных низов» (<http://vive-liberta.narod.ru/biblio/rude2.pdf>), «Идеология и классовое сознание» (<http://vive-liberta.narod.ru/biblio/rude3.pdf>).

АНГЛИЯ в XVIII в.

В Англии в XVIII в., если не считать открывших его бурных лет правления королевы Анны, сохранялась относительно спокойная обстановка вплоть до 90-х гг., когда дали о себе знать последствия Французской и промышленной революций. Этому периоду и посвящена данная глава, а последовавший бурный этап общественного развития будет рассмотрен ниже.

После «Славной революции», положившей конец борьбе между королем и парламентом, страна управлялась «ограниченной» монархией, окончательно установившейся с воцарением Ганноверской династии, в годы которой ожесточенная борьба между вигами и тори (достигшая апогея при королеве Анне) утихла. С ограничением королевской власти суверенитет был поделен, по крайней мере в представлении английских правоведов, между королем, палатой лордов и палатой общин. В действительности же государственные дела вершили король и аристократы-землевладельцы, занимавшие господствующее положение в обеих палатах парламента. Само общество по сути своей оставалось аристократическим, в том смысле что представители земельных интересов — лендлорды — доминировали не только в парламенте, но и в муниципальных органах власти, при отправлении правосудия и были законодателями мод в культуре и искусстве. Аристократия и джентри в гораздо большей степени, чем торговое сословие и ганноверский двор, навязывали свою идеологию (осуществляли идеологическую гегемонию, по выражению Грамши) всем остальным социальным группам.

Однако и среди самих правящих классов существовала социальная группа, упорно противостоявшая этой идеологической инфильтрации. Лондонское Сити превратилось в течение веков в оплот купечества и ремесленников; и XVIII в. в Англии, несмотря на относительное прекращение ожесточенной борьбы, стал свидетелем многочисленных конфликтов по торгово-экономическим вопросам между Сити (представленным плутократами из Совета олдерменов и более плебейским по составу Общинным советом), с одной стороны, и королем, за которым стояло парламентское большинство (в тот период, как правило, виги), — с другой. Эти конфликты, порождавшиеся главным образом экономическими интересами, выражались в борьбе политических фракций. Примечательно, что представительные органы Сити, в которых тори, виги или «радикалы»

сменяли друг друга, постоянно оказывались в оппозиции к политике Вестминстера и Сент-Джеймского дворца в период от 20-х и до начала 80-х гг. XVIII в. Ниже еще пойдет речь о том, что интересы буржуазии в то время представляло купечество, а промышленная буржуазия как сила, которую следовало принимать в расчет, еще не возникла.

Основанием этой социальной пирамиды были трудящиеся, или «народные» классы, которые, не имея в большинстве своем права голоса на выборах, тем не менее, если отвлечься от представителей социального дна, объединившись, становились значительной политической силой. Даниэль Дефо в 1709 г. в своем эссе, отличающемся глубиной и проницательностью, называл их «рабочим людом», «бедняками», «обездоленными».² В городах, больших и малых, это были мелкие лавочники, ремесленники, неквалифицированные рабочие, имевшие более или менее постоянное занятие, и социальное дно, «беднейшие из бедных» — надомники, больные, бедняки без средств к существованию, нищие, бродяги, одним словом, все те, кого Патрик Коулкоун в конце века причислял к «преступным элементам». В деревнях Дефо различал сельских жителей — фермеров и др., живших сносно, относя к этой группе, очевидно, мелких фригольдеров и йоменов; коттеры же и батраки принадлежали к «бедноте». Это был удовлетворительный анализ положения бедноты и трудового населения в начале XVIII в., однако вскоре аграрная революция привела к значительным социальным переменам: в результате ее многие фригольдеры и коттеры исчезли, а число батраков увеличилось, наконец, положение многих фермеров стало еще более «сносным». Отныне то, что еще оставалось от прежнего крестьянства, стало постепенно исчезать, и английская деревня, с ее трехчленным делением (сквайры, фермеры и батраки), начала приобретать современный облик.

Несмотря на относительно «мирную» социальную обстановку, конфликты в отношениях между имущими и неимущими сохранялись — между обезземеленными фригольдерами, городскими ремесленниками и наемными рабочими, «рядовыми потребителями» и имущими классами — торговцами, джентри и богатеющими фермерами, а иной раз самим правительством и парламентом. Представляется целесообразным разбить все массовые выступления протеста этого периода на четыре группы: аграрные волнения, трудовые конфликты, голодные бунты или бунты против дороговизны и, наконец, различного рода городские бунты — от волнений до восстаний. Остановимся подробнее на каждой из этих групп, а также рассмотрим соответствующие идеологические причины народных движений, как «унаследованные», так и «привнесенные».

Начнем с аграрных волнений, которые, как уже говорилось, в Англии того времени были ограничены определенными рамками и не отличались ожесточенностью, характерной для классических крестьянских войн, бушевавших тогда в Восточной Европе, или крестьянских бунтов, возобновившихся во Франции после 60 лет затишья. В Англии такие бурные столкновения XVII в. ушли в прошлое. Э.Р.Томпсон писал в этой связи: «Времена и люди изменились. XVIII в. породил «вольных стрелков», которые на свой страх и риск ломали изгороди, крали лес, занимались браконьерством, массовые же крестьянские восстания были чрезвычайно редки».³ К тому времени в Англии исчезли последние остатки феодализма в деревне, и его место заняли торгово-капиталистические отношения. Конфликты в сельской местности возникали в ответ на перемены, сопутствовавшие аграрной революции, в ходе которой лендлорды и фермеры огораживали поля, присваивали в исключительную собственность общинную землю и устанавливали заставы и шлагбаумы на дорогах, а самые богатые из них превращали целые леса и рощи в свои охотничьи угодья. В ответ на это батраки и мелкие арендаторы уничтожали изгороди и заставы, распахивали огороженные земли, вырубали деревья в лесах и отстреливали дичь. В 1727, 1735 и 1753 гг. в Западных графствах и в 1753 г. в Уэст-Райдинге (в Йоркшире) вспыхивали бунты против застав; в 20-х гг. XVIII в. замаскированные всадники некоего «короля Джона» опустошили оленьи парки в Виндзоре.⁴ Ненависть, вызванная огораживаниями,

существовала долго: в 1710 г. вспыхнули волнения в Нортсемптоне, в 1758 г. — в Уилтшире и Норидже, но самые бурные волнения начались после принятия общего закона об огораживаниях (1760 г.): за этим последовали бунты в Нортсемптоне и Оксфордшире в 1765 г., в Бостоне (Ланкашир) в 1771 г., в Вустере в 1772 г., Шеффилде в 1791 г. и в районе Ноттингема в 1798 г. Несомненно, происходило множество других волнений, о которых в газетах того времени не упоминалось. Участники этих бунтов были далеки от политики, они не расправлялись с лендлордами и фермерами, а требовали прежде всего восстановить традиционные права сельских общин, которые, по мнению деревенских жителей, были с согласия парламента принесены в жертву алчным лендлордам и преуспевающим фермерам, чья идеология, безусловно, отличалась от их собственной.

Причиной трудовых конфликтов в городах были скорее требования рабочих «справедливости» и восстановления утраченных прав, нежели их стремление урвать себе больший кусок пирога. Забастовки того времени чаще всего были направлены против предпринимателей, снижавших заработную плату в целях сокращения производственных расходов; или (как, например, крупные антиирландские волнения в восточной части Лондона в 1736 г.) были вызваны использованием дешевой рабочей силы, или ставили целью разрушение машин, введение которых грозило оставить людей без работы. Относительно ранний пример последней разновидности волнений — разрушение механической лесопилы Чарлза Дингли в Лаймхаузе в 1768 г.⁵ Подобные нападения на собственность предпринимателей было не редкостью во время забастовок той поры, которые иногда проходили мирно, в форме демонстраций или подачи петиций, но чаще принимали насильственный характер. Правда, насилие сводилось главным образом к разрушению хозяйских домов или машин, самих же предпринимателей, как правило, не трогали; в худшем случае какого-нибудь хозяина могли прокатить в бочке или столкнуть в пруд или канаву, да и то если он держался вызывающе. Штрейкбрехерам и конкурирующим группам рабочих не удавалось легко отделаться: иногда дело доходило и до кровопролития, как, например, во время забастовок лондонских грузчиков угля и шелкоткачей в 1768 г. В 1768 г. число забастовок в Лондоне возросло. Они проходили параллельно с нараставшей кампанией сторонников Уилкса или даже совпали во времени с ее апогеем. Один из биографов Уилкса ошибочно считал их примерами ранних политических забастовок, как я писал об этом в одной из своих работ.⁶

Голодные бунты возникали в то время гораздо чаще, чем трудовые конфликты, в которых, в случае действительной или ожидаемой нехватки продовольствия, особенно хлеба, принимали участие все слои неимущего населения, в том числе, конечно, и рабочие. Из 375 волнений, происходивших, согласно газетным сообщениям, с 1730 по 1795 г., 275 были продовольственными бунтами. Неудивительно, что они возникали столь часто, причем к концу столетия число их возрастало. Это объяснялось не только высоким процентом малоимущих среди населения, но и тем обстоятельством, что хлеб был главным продуктом питания бедняков, на покупку которого даже в хорошие времена уходило от одной трети до половины их заработка. Во второй половине века неурожайные годы участились; примерно в то же время в практику вошли новые формы распределения хлеба, в результате чего поставщикам стало выгодней продавать его богатым, чем беднякам; кроме того, при нехватке продовольствия, была ли она вызвана объективными причинами или создана искусственно, вообще при любом продовольственном кризисе, которые начиная с 40-х гг. XVIII в. регулярно повторялись раз в десятилетие, население немедленно прибегало к традиционным формам выражения своего недовольства. Происходило это по-разному. Иногда возмущенные потребители захватывали привезенное на рынок зерно; это неизбежно сопровождалось стихийными грабежами. В других случаях зерно просто уничтожали; это была своеобразная месть торговцам и так случалось довольно часто во время рыночных бунтов, особенно в первые десятилетия века. Бывало, что бунтовщики задерживали подводы, обозы и суда,

перевозившие зерно за границу или в другие районы страны, где его не хватало. Такая форма протеста получила особо широкое распространение во Франции, где это называлось «препятствие». Однако нередко к ней прибегали и в Корнуолле: здешние шахтеры практиковали ее вплоть до 30-х гг. XIX в., препятствуя погрузке зерна на суда в портах. Наконец, самая зрелая форма «голодного протеста», требовавшая уже более высокой степени организованности, заключалась в установлении самими бунтовщиками «справедливых» цен на продовольствие. В Англии это происходило так же часто, как и во Франции, где ее называли «народной таксацией». Установление «явочным порядком» справедливых цен сыграло важную роль в крупнейших бунтах второй половины XVIII в. — в 1766, 1795 и в 1800—1801 гг., хотя и не получило повсеместного распространения.⁷

Некоторые авторы считают, что руководство голодными бунтами, в том случае если они достигали значительного размаха, нередко брали на себя представители более влиятельных и непричастных к ним социальных групп, стремясь придать этим волнениям политическую направленность; более того, иногда они даже провоцировали бунты в своих целях. Примером в данном случае является французская «зерновая война» 1775 г. Действительно, в некоторых случаях тезис о политическом сговоре выглядит более убедительно, чем в других. Так, например, по утверждению канадского ученого Уолтера Шелтона, изучавшего голодные бунты 1766 г., эти волнения, которые власти вполне могли бы быстро подавить, затянулись надолго лишь потому, что члены магистратов сочувствовали бунтовщикам и сами ненавидели торговцев. Однако Шелтон тут же оговаривается, что такое явление не было типичным для того времени, ибо подобную «двойственную позицию» джентри под влиянием своих собственных затруднений заняли лишь в одном этом случае.⁸ С идеологической точки зрения продовольственные бунты выражали прежде всего стремление малоимущих слоев населения установить «справедливые цены», хотя, как с основанием указывает Э. Томпсон, в этих случаях речь шла не только о «справедливости цен», но и о «справедливых» методах распределения и функционирования рынка. Далее он замечает, что народное недовольство «возникало на основе общего для низов представления о том, что законно и что незаконно в торговле хлебом, помоле зерна, выпечке хлеба и т.д.». Томпсон называет это «экономической моралью бедняков».⁹

Городские бунты, в частности, целесообразно выделить в особую группу ввиду их специфики. Во-первых, они возникали по самым различным поводам. Они могли быть вызваны дороговизной продовольствия или, как это случилось во время волнений Уилкса в 1768 г., развиваться в рамках широких политических движений. Настоящие продовольственные бунты относительно чаще происходили в провинциальных городах, особенно в тех, где регулярно проводились ярмарки, например в Таунтоне, Эйлсбери, Уинчестере и т. п. Лондон был исключением: с 1714 г. до середины 90-х гг. XVIII в. здесь не вспыхнуло ни одного продовольственного бунта. Причина была двоякой. Во-первых, Лондон, как и Париж, лучше снабжали и хорошо охраняли. Это и понятно: возможный продовольственный бунт у стен Уайтхолла или Вестминстера был бы политически чреват гораздо более опасными последствиями, чем в любом другом месте. Во-вторых, сама география Лондона, с его защитной полосой на северо-востоке — урбанизированным Мидлсексом, обеспечивала ему своего рода иммунитет от сельской «заразы», которого, как известно, не хватало Парижу. Но если Лондону и были неизвестны продовольственные бунты, то он как город, игравший роль правительственного и хозяйственного центра, становился ареной многочисленных народных волнений иного рода значительно чаще, чем провинциальные города или ярмарочные центры. Именно в Лондоне вспыхнули бунты против шотландского банкира Джона Луо во время кризиса «Компании южных морей», известного как «Мыльный пузырь южных морей», в 1720 г., против Роберта Уолпола в связи с введением им акцизных налогов в 1733 г. и пошлины на джин в 1736 г., волнения в связи с намерением правительства облегчить натурализацию евреев-иммигрантов в

50-е гг. XVIII в. и, наконец, выступления в поддержку Уильяма Питта-старшего в годы Семилетней войны. Но все эти беспорядки по размаху и ожесточенности не шли ни в какое сравнение с энтузиазмом, вызванным делом Уилкса в 1760-х и 70-х гг., и с Гордоновыми бунтами 80-х гг., в ходе которых антикатолически настроенные низы целую неделю оставались хозяевами лондонских улиц, уничтожив имущество, оцененное на сумму свыше 100 тыс. фунтов стерлингов (сумма по тем временам весьма значительная).¹⁰

Лондонские бунты, помимо того, что форма их была разнообразна, имели тенденцию принимать политическую окраску: это объяснялось не столько близостью парламента, сколько деятельностью органов самоуправления Сити, игравших активную роль в политических делах. Из двух органов, составлявших администрацию Сити, Общинный совет, более демократичный и представительный по составу, в значительной степени способствовал политическому просвещению низов не только в самом Сити, но и — по мере распространения его политического влияния не только на другие районы Лондона, но и за пределами столицы — в Сэрри и Мидлсексе. В первые десятилетия века политические симпатии Сити были скорее на стороне провинции, чем на стороне короны, а следовательно, были скорее на стороне тори, чем вигов. В 50-х гг. XVIII в. с появлением Уильяма Питта на политической сцене в Сити стали склоняться к более радикальному торизму, а с появлением Уильяма Бэкфорда, креатуры Питта в Сити, и Уилкса, Сити заняло критическую позицию по отношению к обеим парламентским партиям, которую, вероятно, можно столь же назвать «радикальной», как и многие другие.¹¹

С тем же основанием можно считать радикальными и действия городских низов, выступавших под лозунгом «Уилкс и свобода!» в 1763 г. и продолжавших бунтовать в поддержку Уилкса и по его возвращении из ссылки в 1768 г. вплоть до 1774 г., когда он после неоднократных исключений и лишений парламентских прав был наконец вновь допущен в парламент. И даже Гордоновы бунты, несмотря на их ожесточенный характер, не выходили за рамки радикализма, продолжая давнюю радикально-протестантскую традицию. Они идейно вдохновлялись (если не провоцировались) наиболее радикальными элементами Сити, например Фредериком Булом, членом Общинного совета, близким другом лорда Джорджа Гордона и его соратником в борьбе против католиков.¹²

Какова же была идеология лондонских низов и что отличало ее от идеологии участников волнений в деревнях и ярмарочных центрах? В целом это была вообще присущая народным низам «унаследованная» идеология. Они столь же стремились к восстановлению «справедливости» и защите прав «свободнорожденных англичан», как и их собратья в любом другом месте. Толпы, ратававшие за Уилкса, проявляя этим далеко еще до конца не осознанную классовую ненависть к богатым, отметили возвращение Уилкса в парламент камнями, летевшими в окна домов лордов и знати. Это стихийное и легкое утверждение эгалитаризма еще более ярко проявилось во время Гордоновых бунтов, участники которых намеренно разрушали дома и уничтожали имущество зажиточных католиков в богатых кварталах, не трогая, однако, своих соседей, ирландских католиков-бедняков. В протоколах Олд-Бейли по делам бунтовщиков зафиксировано признание одного из них в том, что он принял участие в разрушении дома богатого протестанта: «Протестант он или нет, но ни один человек не вправе иметь годовой доход свыше 1000 фунтов стерлингов, ибо этого вполне хватает на жизнь».¹³

Этим, однако, как уже отмечалось, не ограничивалась идеология лондонских низов в XVIII в., в пей, совершенно очевидно, присутствовал и «привнесенный» элемент. Вопрос в том, насколько полно он усваивался в каждом отдельном случае. Привнесенной идеологией определялись прежде всего лозунги дня, отражавшие политическое кредо Сити, точнее, его «народной» партии, менявшееся от поколения к поколению. Примером могут служить такие лозунги, как «За высокую церковь и Сэчверелла!» тористски настроенной толпы в 1710 г., «Долой акциз» — во время

выступлений против Уолпола в 1733 г., «Уилкс и свобода!» — главный лозунг толп в 1763—1794 гг. и «Долой папизм!» — лозунг Протестантской ассоциации, получивший большую поддержку Сити — в июне 1780 г. Хотя лозунги и отражавшиеся в них политические ситуации менялись от одного крупного кризиса к другому, существовал один постоянный элемент — «наставником» лондонских низов всегда оставались власти Сити (чаще всего Общинный совет), точно так же как в Париже в канун революции инициатором и вдохновителем политических выступлений низов чаще всего был аристократический парламент. Но как далеко заходило это влияние? Насколько глубоко низы усваивали политические уроки? Или они оставались лишь «чернью», которой Сити манипулировало в своих интересах? Эти вопросы возникают в связи с утверждением Э.Томпсона, считающего, что автор этих строк «слишком усердствует» в защите лондонской «толпы» от обвинений в том, что она являлась сборищем хулиганов и уголовных элементов. Томпсон, со своей стороны считает, что «толпа», выступавшая в поддержку Уилкса, хотя и симпатизировала ему и отнюдь не была подкуплена, отдавала себе отчет в том, что ее насильственные действия останутся безнаказанными, поскольку они совершались «с ведома» городских магистратов. Подобный расчет был еще более характерен для толпы во время Гордоновых бунтов (вспыхнувших вскоре после Уилксовых), в которых противоречивое поведение бунтовщиков, по мнению Томпсона, характеризовало их то как чернь, являющуюся послушным орудием в чужих руках, то, напротив, как истинно революционные массы. На этом основании Томпсон приходит к выводу, что английские низы в XVIII в. «находились еще на полпути к выработке самостоятельного политического сознания».¹⁴

В целом такой вывод не вызывает особых возражений: в конце концов, «на полпути» политические идеи могли уже в значительной степени проникнуть в народное сознание. Следует, однако, добавить, что исход Гордоновых бунтов по меньшей мере обескуражил низы, так же как и их наставников из Сити. Они сами признавали потом, что наступившее после бунтов политическое оцепенение многому их научило. Так, Джозеф Брэсбридж, хорошо известный в Сити, спустя некоторое время после окончания волнений заявил: «Отныне я останусь глух к протестующему гласу народа».¹⁵ Его точку зрения, по свидетельству различных источников, разделяли тогда и многие другие. Фактически вопрос о содействии выступлениям низов в Лондоне или в самом Сити был снят с повестки дня Общинного совета вплоть до наполеоновских войн, когда радикализм Сити вновь возродился при поддержке широких слоев населения.

В заключение следует рассмотреть вопрос о модели массовых выступлений протеста в XVIII в., прежде чем промышленная революция преобразовала английское общество. Типичными чертами массовых выступлений были прежде всего «прямые действия» и ущерб, нанесенный чужой собственности: забастовки перерастали в бунты, участники которых ломали машины, либо для того, чтобы сохранить свое рабочее место, либо для того, чтобы посредством бунта добиться уступок от предпринимателей¹⁶, Бунтовщики врывались в булочные и амбары, в городе «разбирали по камешкам» дома своих недругов или сжигали их изображения. Физические расправы были, как правило, редкостью. Во всех прочих случаях в кровопролитии всегда были повинны власти: самый известный тому пример — Гордоновы бунты, в ходе которых было убито или умерло от ран 285 бунтовщиков и 25 человек было повешено, тогда как магистраты и войска потерь вообще не имели.

Нанося ущерб собственности, бунтовщики всегда действовали с разбором. Участники Гордоновых бунтов и бунтов Пристли (в Бирмингеме в 1791 г.) намечали свои жертвы с поразительной точностью (однако в полицейских и судебных архивах не сохранилось каких-либо «списков» жертв, составленных якобы руководителями бунтовщиков). Разрушение нескольких принадлежавших протестантам домов во время Гордоновых бунтов объяснялось либо симпатиями их владельцев к католикам, либо несчастным случаем: в Холборне, например, сгорело 25 домов, находившихся по соседству с загоревшимся винокуренным заводом Томаса Лэнддейла.

Далее, волнения возникали, как правило, стихийно, хотя нередко и развивались по традиционной модели, как, например, продовольственные бунты. Даже при таких крупных волнениях, как Уилксовы или Гордоновы бунты, организация была минимальной. Начавшись с незначительного инцидента, например с ссоры в булочной или, как в июне 1780 г., с отклонения петиции парламентом, подобные волнения приводили к разрушению материальных ценностей и массовым поджогам. По степени организованности сельские бунты значительно уступали городским.

С этим моментом связан и вопрос о руководителях. Следует отметить, что, как правило, в то время руководители, выдвинутые народом, встречались сравнительно редко, если не считать кратковременные выступления, когда некоторые бунтовщики пользовались большим авторитетом и вели себя более активно, чем прочие, по крайней мере в глазах членов магистрата и полицейских. Это, разумеется, зависело и от типа волнений. Наиболее стихийными из вышеперечисленных четырех типов волнений были, по-видимому, голодные бунты: после их подавления под суд отдавали не вожakov в общепринятом смысле слова, а, судя по всему, участников, арестованных ополченцами или полицией за бросавшееся в глаза рвение или личное мужество. Бунты против огораживаний и вторжения в охотничьи заповедники в одних случаях были незначительными по масштабу и предпринимались чуть ли не в одиночку, в других случаях, напротив, являлись хорошо продуманными акциями, как, например, набег всадников «короля Джона» на Виндзорский парк в 1720 г. Трудовые конфликты в иных случаях также принимали форму организованных выступлений с выборными комитетами и общепризнанными вожаками. Например, в Лондоне в 1768 г. во время забастовок шляпочников, портных, моряков и шелкоткачей были созданы забастовочные комитеты для координации действий. Большую степень организованности в тот год обнаружили ткачи, избравшие доверенных лиц, которые собирали взносы в забастовочную кассу и агитировали колеблющихся присоединиться к забастовке. Еще важнее в данном случае то, что два члена забастовочного комитета ткачей — Джон Вэллин и Джон Дойль — были арестованы и повешены не за участие в каком-либо одном выступлении, а за активную роль в целой серии конфликтов ткачей с хозяевами. При более крупных выступлениях низы обычно ориентировались на лидеров-вождей, стоявших высоко над ними, таких, как Питт, Уилкс, лорд Джордж Гордон. Некоторые лидеры такого рода гордились своей ролью, например Уилкс, редко, впрочем, выступавший перед своими сторонниками. Другие, например Гордон, напротив, отрекались от этой роли, слагали с себя всякую ответственность за действия, совершенные от его имени. Кроме руководителей, стоявших над толпой, попадались и выдвинутые самими массами или поддерживавшие с ними непосредственный контакт «капитаны», не пользовавшиеся сколь-нибудь прочным авторитетом и в отличие от Дойля и Вэллина не игравшие никакой роли ни до, ни после какого-то отдельного выступления. Таким был, к примеру, Мэттью Кристьян; этот, как говорили о нем, «богатый джентльмен с характером» угощал пивом бунтовщиков, праздновавших победу Уилкса на выборах от Мидлсекского округа в марте 1768 г. В Гордоновых бунтах, вспыхнувших спустя двенадцать лет, такими вожаками были колесный мастер Уильям Пэтмен и каретник Томас Тэплин, возглавлявшие отряды бунтовщиков и собиравшие деньги «для бедных». Следует назвать также и капитана Тома-цирюльника, вожака одного из более ранних выступлений: облачившись в «полосатый балахон», он возглавлял антиирландский бунт на Гудмен-Филдз в 1736 г. (Ему удалось скрыться от полиции, и его подлинное имя осталось неизвестным.¹⁷⁾

Наконец, большое значение имеет и вопрос о социальной принадлежности бунтовщиков. В свидетельствах о голодных бунтах, бунтах против огораживаний и трудовых конфликтах в сельской местности особенно часто упоминаются мелкие арендаторы, коттеры, шахтеры и ткачи. Однако вожаки типа «короля Джона» стояли на более высокой ступени социальной лестницы, хотя и не «над массами» (поскольку они принимали участие в

волнениях). В городах состав бунтовщиков был более пестрым: работающие по найму, поденщики, прислуга, подмастерья, а также торговцы, ремесленники, а иногда и дворяне, подобно Мэттью Кристьяну. Разумеется, состав бунтовавших городских низов был разным в зависимости от выступлений: Питта поддерживали в основном ремесленники и торговцы; в числе участников выступлений под лозунгом «Уилкс и свобода!» были представители как среднего, так и низшего сословий; к ремесленникам и лавочникам присоединились чернорабочие и фригольдеры. Рабочие как класс ни в городских, ни в сельских бунтах участия еще не принимали: промышленная революция только начиналась.

Завершая анализ различных моделей «доиндустриального» протеста и исходя из всего вышеизложенного, следует подчеркнуть, что идейный багаж участников голодных бунтов, забастовок и разного рода аграрных волнений в Англии XVIII в. составляли «унаследованные», традиционные, аполитические идеи. Лишь в Лондоне участники бунтов, особенно бунтов, происшедших после радикализации» Сити в середине века, испытали на себе слабое влияние идей буржуазии — «привнесенных», прогрессивных для того времени, политических. Однако и в этом случае прогрессивный элемент был весьма поверхностным. В целом же народный протест был обращен в прошлое. «Плебейская культура, — писал Томпсон (этот термин, впрочем, не вполне адекватен понятию «идеология» в том смысле, в каком оно употребляется в настоящей работе) — остается бунтарской по своему характеру, но бунт направлен на защиту старых обычаев».¹⁸

Ссылки на источники

1. Sutherland L.S. The City of London in Eighteenth-Century Politics. — B: *Essays presented to Sir Lewis Namier*, под редакцией R.Pares и A.J.P.Taylor. London, 1956, p.46—74.
2. Defoe Daniel. The Review, 25 June 1709.
3. Thompson E.P. Whigs and Hunters: the Origin of the Black Act. London, 1975, p.23—25.
4. Ibid., p. 23—25.
5. См. мою работу "Wilkes and Liberty", Oxford, 1962, p. 93—94.
6. Postgate Raymond. That Devil Wilkes. London, 1956, p.181; "Wilkes and Liberty", p.103—104.
7. См.: Stevenson John. Food Riots, 1792—1818. B: *Popular Protest and Public Order*, под редакцией J.Stevenson и P.Quinault. London, 1974, p.33—74; Shelton Walter J. The Role of Local Authorities in the Hunger Riots of 1766, *Albion*, V (1), Spring 11973, 50—66; Wells Roger. The Revolt of the South-West, 1800—1801, *Social History*, № 6 (October 1977), p.713—744.
8. Shelton. Loc.cit.
9. Thompson E.P. The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century, *Past and Present*, № 50, February 1971, p.76—136.
10. Подробное описание см.: Рюде Дж. «Толпа» в истории.
11. См. Sutherland L. S. The City of London and the Opposition to Government, 1768-1774, London, 1959, p.10-11.
12. См мою работу "Paris and London in the XVIII Century, London and New York, 1971, p.268—292.
13. Ibid., p.289.
14. M.Thompson E.P. The Making of the English Working Class. London, 1963, p.70-71.
15. Цит. в: Sutherland L.S. The City of London in Eighteenth-Century Politics, p. 73.
16. Hobsbawm E.J. The Machine Breakers, *Past and Present*, № 1 (February 1952), p. 57-70.
17. О вышеупомянутых «капитанах» см. мою работу «Wilkes and Liberty», p.44, и: «Paris and London...», p.79-80, 210. О «короле Джоне» см.: Thompson. The Black Act, p.142-146.
18. Thompson E. P. Eighteenth-Century English Society: Class Struggle without Class? *Social History*, III (2), May 1978, особенно с.154.

ПЕРЕХОД к ПРОМЫШЛЕННОМУ ОБЩЕСТВУ. 1800-1850

Выше уже говорилось, что Великая французская революция и промышленная революция возвестили для Англии в конце XVIII в. начало новой эры — переход к промышленному обществу. Французская революция не сыграла сколько-нибудь заметной роли в процессе социальных перемен в Англии, в отличие от самой Франции, где она его драматически ускорила. Но эта революция наложила глубокий отпечаток на идеологию народного протеста, обогатив ее двумя близкими друг другу понятиями: «права человека» и «суверенитет народа».

Безусловно, в Англии на ход исторического развития в значительно большей степени повлияла промышленная революция: она не только направила народный протест в новое русло, но и видоизменила способ производства, создав одновременно два новых общественных класса. К 20-м гг. XVIII в. фабрики начали вытеснять старое, сосредоточенное в деревнях домашнее производство сначала в хлопкопрядении и хлопкоткачестве, а затем в сукноткачестве и в других отраслях. В ходе этого процесса и формировались два новых класса — промышленная буржуазия, владеющая средствами производства, и промышленные рабочие, продающие свою рабочую силу. Таким образом, английская промышленная революция в конечном счете привела к образованию двух антагонистических классов — промышленной буржуазии и пролетариата, как писали в «Манифесте Коммунистической партии» Маркс и Энгельс. Однако и в Англии, где процесс промышленного развития проходил быстрее, чем в любой другой стране, это разделение не было полным; сохранились и другие социальные слои: представители старых правящих классов, все еще претендовавшие на политическую власть, и «традиционные» слои мелких фермеров, лавочников и ремесленников — те самые, о которых Грамши писал и сто лет спустя. Сохранившийся класс землевладельцев — «претендентов на власть», охарактеризованный выше, по-прежнему процветал и играл важную, если не главную, роль в парламенте и в государстве. Но его политическое влияние постепенно уменьшалось — к началу первой мировой войны лорды окончательно утратили свое независимое положение в государстве, слившись с более могущественной буржуазией; от их былых привилегий остались только титулы да «родовые замки».

Но еще задолго до завершения этого процесса слияния промышленная буржуазия, даже не заняв целого ряда командных постов, остававшихся в руках землевладельцев, стала господствующей силой в государстве. В период свободного предпринимательства новые владыки (буржуа), идеологической опорой которых стали теории Смита, Мальтуса и Бентама, одобренные некоторыми евангелическими догмами, ставили себе следующие цели:

1. Узаконить свободу торговли и превратить Британию в «мастерскую мира», обеспечив себе максимальные прибыли.
2. Положить конец изжившему себя политическому господству аристократии, осуществив парламентскую реформу и реформу местных органов самоуправления.
3. Получить полную свободу рук в вопросах найма и увольнения рабочей силы, обуздав рабочие «кралиции» и устранив другие препятствия и ограничения, тормозившие развитие производства.

Осуществлению этих планов мешал прежде всего класс землевладельцев, упорно цеплявшийся за свои хлебные законы, синекуры и «гнилые» местечки. К 50-м гг. XIX в. буржуазия выиграла эту битву: лендлорды стали поддерживать буржуазию как в экономике, так и в политике, сначала нерешительно и без энтузиазма, затем все более энергично. Убрать с пути второе, гораздо более серьезное препятствие оказалось куда сложнее. Предметом нашего исследования являются новые социальные конфликты между двумя антагонистическими классами — буржуазией и пролетариатом, конфликты, игравшие лишь второстепенную роль в предшествующем столетии.

Прежде чем перейти к вопросу о генезисе этих новых конфликтов, следует хотя бы кратко остановиться на основных изменениях в характере протеста народных низов вообще и рабочего класса в частности, происшедших под влиянием двух революций. Как уже отмечалось, основными участниками народных выступлений стали теперь не мелкие фригольдеры, городские ремесленники и представители малоимущих слоев населения, а промышленные рабочие, или пролетарии, в новых фабричных городах. Это стало особенно заметно после 30-х гг. XIX в. Основной причиной конфликтов были не цены на хлеб, как это чаще всего случалось в прошлом, а заработная плата рабочих. Более того, по мере развития промышленности главные очаги народных выступлений перемещались с юга на север, из деревни в город, из старых «свободных городов» — в современные промышленные города. Этот процесс можно условно разделить на следующие основные этапы до середины XIX в.

Первый этап (начало наполеоновских войн, 1793—1800) включает в себя движение якобинцев-«заговорщиков» в Лондоне, Эдинбурге, Манчестере и как ответную реакцию — движение «за церковь и короля» в Бирмингеме и Манчестере, голодные бунты в Лондоне, юго-восточной Англии и некоторых районах Уэльса.

Второй этап (последние годы наполеоновских войн, 1811—1815) — луддитское движение в районах трикотажного производства в Мидленде и Йоркшире (Уэст-Райдинг).

Третий этап (первые послевоенные годы, 1815—1822): крупные волнения в больших городах (Лондон, Манчестер), в районах Восточной Англии, где промышленное производство переживало в те годы упадок, а также в новых развивающихся индустриальных областях (центры черной металлургии в Южном Уэльсе и трикотажного производства в Мидленде и Уэст-Райдинге); голодные бунты в торговых городах во всех районах страны (Фальмут, Ноттингем, Болтон, Карлайль и другие).

Четвертый этап (1829—1832). Это были годы наиболее бурных волнений; центр их все более явственно перемещался в новые промышленные районы — Мидленд, Южный Уэльс, Северную Англию, Клайдсайд. Лондон временно уступил свою роль эпицентра волнений Бирмингему и некоторым старым «свободным» городам (Ноттингему, Йорку, Дерби, Бристолу); последнее крупное выступление крестьян на аграрном юге страны, после чего очаги мелких аграрных волнений сохранились лишь в Восточной Англии и Девоне — вплоть до создания в 70-х гг. XIX в. профсоюзов сельскохозяйственных рабочих.

Пятый этап (30—40-е гг. XIX в.) включает три периода чартистского движения, охватившего главным образом промышленные районы страны, которые по географическим признакам можно в свою очередь разбить на три группы: большие развивающиеся города — Лондон, Бирмингем, Манчестер, Глазго; новые промышленные районы страны — Шотландия и Уэльс; и наконец, старые центры доживавших свои последние дни ручного ткачества и кустарного производства в деревнях — Западные графства и Уэст-Райдинг в Йоркшире. Сколько-нибудь заметные аграрные волнения были в эти годы зарегистрированы лишь на «Кельтской окраине» в Уэльсе и на Северном нагорье в Шотландии. В послечартистский период старые центры ручного ткачества и сельской промышленности окончательно пришли в упадок и постепенно исчезли, а английские ткачи на ручных станках и крестьяне-арендаторы Уэльса, так же как и английские «батраки», сошли со сцены. Фермерские бунты на «Кельтской окраине» постепенно затихли. Лишь на Северном нагорье шотландские крестьяне некоторое время еще продолжали борьбу.¹

Лондон в тот период занимал особое место, как бы подтверждая, что процессы индустриализации и урбанизации не всегда проходят параллельно. Лондон XVIII в., как уже отмечалось, был колыбелью массовых радикальных движений, ареной самых ожесточенных и длительных конфликтов того времени. Однако к концу века центр политического радикализма переместился из Сити в Вестминстер и

Мидлсекс, а с развитием промышленности — в Мидленд и северные районы страны. В этот переходный период в Лондоне только дважды вновь усиливались радикальные настроения; первый раз — в 1820 г. в связи с «анахроничными» по форме выступлениями в поддержку королевы Каролины, напомнившими кампанию сторонников Уилкса², и второй — в 1848 г., на последнем этапе, проходившем в столице движения за «Народную хартию». В дальнейшем массовая активность в Лондоне наблюдалась в 50—60-х гг. и в еще более широких масштабах — в 80-е гг. XIX в. Но эти выступления относятся уже к периоду, выходящему за рамки данного исследования.

С развитием промышленности и торговли характер массовых выступлений также претерпел изменения, утратив черты, свойственные «доиндустриальному» периоду. «Прямые действия» начали постепенно уступать место более организованным и зачастую более «пристойным» формам борьбы. Во-первых, после окончания наполеоновских войн с появлением в стране постоянных ярмарок прекратились голодные бунты; в последний раз они произошли в Восточной Англии в 1815—1816 гг., а в последующие годы лишь изредка возникали на «Кельтской окраине» — в Корнуолле и на Северном нагорье в Шотландии. Во-вторых, отошло в прошлое и разрушение машин: в индустриальных районах оно прекратилось после завершающего этапа луддитского движения в 1811—1822 гг. в Мидленде, в сельской местности — после крупных выступлений разрушителей молотилок в 1830—1832 гг. Наконец, традиционное разрушение домов, принявшее в Бристоле в 1831 г. почти те же масштабы, что и во время антипапистских выступлений прошлого века, в последний раз повторилось как широко применявшаяся форма борьбы в «гонимых» городках в Стаффордшире в августе 1842 г. Из подобных старых форм выступлений XIX век унаследовал лишь поджоги, оставшиеся характерной чертой аграрных волнений вплоть до 60-х гг. (Только в 1862—1866 гг. в Западную Австралию было сослано за поджоги не менее 227 человек, среди которых явные бунтовщики составляли, впрочем, меньшинство).³

Итак, стихийные волнения уступили место организованным выступлениям. Это стало особенно заметно с появлением первых общенациональных или, во всяком случае, выходявших за местные рамки профсоюзов, таких, как Национальная ассоциация защиты труда во главе с Джоном Догерти, созданная в 1830 г. и к 1831 г. насчитывавшая уже 100 тыс. членов, затем — Великий национальный объединенный союз профессий Оуэна — своеобразный пример «единого большого союза», распавшегося вскоре после своего создания в 1834 г.; хорошо организованная и располагавшая солидными средствами Ассоциация горняков в 1841 г. и после 1851 г. — профсоюзы «нового типа». Возникновение подобных организаций не только позволило рабочим более основательно подготавливать трудовые конфликты, отказавшись от старых «партизанских» методов борьбы, но и вызвало к жизни новые типы руководителей: среди них были и активисты, чем-то напоминавшие лидеров прошлого, этих «калифов на час», быстро сходивших со сцены, и «реформисты», превращавшиеся впоследствии в уважаемых «джентльменов в цилиндрах», как, например, руководители профсоюзов «нового типа» в 50—60-х годах. Первыми руководителями-активистами были сам Джон Догерти и Джон Лавлесс, лидер дорчестерских сельскохозяйственных рабочих, высланный за свою активную деятельность в Австралию и возобновивший борьбу после возвращения из ссылки три года спустя. Все они — и активисты, и оппортунисты — были порождены переходным периодом. Они вышли из масс, в данном случае из рабочей массы, но в отличие от случайных, никому неведомых «одноразовых» вожаков, выдвигавшихся массами в предшествующий период, были последовательными, убежденными, общепризнанными руководителями.

Изменилась и народная идеология. Разумеется, развитие народной идеологии, в том числе и идеологии недавно сформировавшегося класса промышленных рабочих, не было непрерывным движением по восходящей линии. Но так же, как и во Франции, основное направление этого развития в

Англии совершенно очевидно: от первых шагов по пути «политического осознания» действительности — главным образом за счет «привнесенных» идей — в 90-е гг. XVIII в. к начавшемуся в 30-е гг. XIX в. периоду выработки самостоятельного пролетарского сознания, иными словами, к осознанию рабочими своего места в классовом обществе. Выше мы писали о начальном этапе политического просвещения городских низов, включая мелких лавочников, хозяев небольших мастерских и наемных рабочих. Однако на том этапе вопрос о политическом просвещении рабочих как самостоятельной социальной группы еще не был актуален. Положение изменилось после Французской революции, хотя, сколь бы парадоксальным это ни казалось, ни один из главных идеологов революции, так же как и популяризатор их идей в Англии Томас Пейн, не ставили своей целью идеологическое воздействие на рабочих. В Америке Пейн оттолкнул от себя своих сторонников из числа политически сознательных ремесленников Филадельфии, отказавшись поддержать их специфические требования, выходившие за рамки общепатриотического движения. Грамотные английские промышленные рабочие, с увлечением читавшие «Права человека» Пейна, не могли, однако, найти в этом произведении ответа на многие непосредственно касавшиеся их вопросы. Но в Англии на рост политической сознательности рабочих оказал влияние другой принципиально новый фактор: главную роль в пропаганде трудов и идей Пейна здесь сыграло созданное в 1792 г. Лондонское корреспондентское общество, членство в котором, по выражению Томпсона, «ничем не обуславливалось». Из всех организаций того времени, чей политический характер не вызывал сомнений, только эта объединяла в своих рядах главным образом механиков и ремесленников. Имея такой состав, общество распространяло идеи Пейна о народном суверенитете, правах человека, пороках монархической власти и официальной церкви прежде всего среди читателей — рабочих в новых индустриальных городах; оно пропагандировало эти идеи среди ткачей, шахтеров и городских ремесленников сначала открыто, а затем подпольно — после того, как Питт добился принятия чрезвычайных законов и Лондонское корреспондентское общество и его филиалы в других городах были запрещены.

Эстафету английского якобинства, возвращенного Пейном и Лондонским корреспондентским обществом, приняло после наполеоновских войн радикальное реформаторское движение на новом этапе. Коббет, некогда гроза радикальных памфлетистов, вернувшись из Америки, в знак раскаяния привез с собой урну с прахом Пейна. Объявив себя радикалом, он вдохнул новую жизнь в старомодный радикализм вигов, придав ему демократический характер. Выдвинутый им лозунг «Долой коррупцию!» (под этим подразумевались также «гнилые» местечки и sineкуры) мгновенно подхватили и усвоили радикально настроенные ремесленники и представители других радикальных групп, от которых он перешел и к рабочему движению. Эти требования подхватили в указанных рамках и участники выступлений, носивших, как по традиции считали историки, чисто экономический характер. Примером тому может служить луддизм, связь которого с широким радикальным движением за парламентскую реформу впервые обосновал Томпсон. Ниже следует отрывок из анонимного письма в защиту деятельности ноттингемских луддитов в 1816 г., автор которого, очевидно, разделял идеи Коббета (цитируется по рецензии на работы Томпсона):

«Мы не рабители! Мы требуем лишь обеспечить нас предметами первой необходимости. Если наша борьба увенчается заслуженным успехом, наше королевство будет избавлено от тяжкого бремени налогов, беспрецедентного государственного долга, продажного и деспотического правительства и от непомерно разросшейся системы sineкур и незаслуженных пенсий».⁴

Спустя еще двенадцать с небольшим лет во время движения «Свинга» в 1830 г. радикал Джон Адаме, башмачник из Мейдстона, возглавивший «толпу» в 300 человек, по поручению которых он вступил в переговоры с Джоном Филмером, священником из Ист-Саттон-Парк, начал их, выразив надежду, что «джентльмены и трудящиеся классы приложат совместные

усилия для сокращения правительственных расходов». В тот же вечер Адаме и его товарищи в беседе с Гамбьером, сыном пастора соседнего прихода в Лэнгли, заявили, что «бесчисленные синекуры» ухудшают положение трудящихся в стране. Идеи Коббета оказали влияние и на многих других выразителей интересов трудящихся. Например, Филип Грин, трубочист из Бэнбери, бывший матрос, был известен как восторженный почитатель Коббета, «чьи работы он цитировал в трактирах, в которые частенько наведывался».⁵

Понятие «укоренившейся коррупции», как и перекликающееся с ним понятие «норманского ига», сохранявшееся в идейном багаже радикалов-демократов до начала чартистского движения, хотя и сослужило им свою службу, но по сути своей было консервативным, обращенным в прошлое — ко временам «старой доброй» Англии, которые Коббет, говоривший со страхом и отвращением об этой «водянке» — Лондоне, — страстно мечтал воскресить. Первым, кто попытался создать передовое учение, открывавшее перед рабочими перспективы новой жизни, а не тянувшее их назад, к давно прошедшим и якобы лучшим временам, был Роберт Оуэн. В социалистическом учении Оуэна, как и в теориях французских социалистов-утопистов Кабэ и Блана, конечно, есть немало слабых мест. Оуэн, в частности, не придавал значения политической борьбе и все надежды возлагал на организацию производства и кооперативные проекты. Но несомненной: заслугой его учения по сравнению с якобинством Пейна и радикализмом Коббета было стремление убедить рабочих в том, что индустриальное общество является исторической необходимостью и что только своими собственными усилиями они смогут построить новое, кооперативное общество всеобщего благоденствия. Влияние идей Оуэна чувствуется в памфлете Джорджа Лавлесса, написанном им после возвращения в Англию из австралийской ссылки. (Прежде чем стать чартистом, Лавлесс был последователем Оуэна.) «Полагаю, что никто не облегчит бедственное положение трудящихся, пока они сами не приложат к этому руки. С этим убеждением я покинул Англию и, вернувшись, думаю то же самое».⁶

Рабочим предстояло пройти долгий путь к выработке собственного классового сознания, непременным условием которого являлось их участие как в экономической, так и в политической борьбе. Чартизм, движение, полное противоречий, соединившее в себе новые и старые идеи и формы борьбы, был первым шагом на этом пути. Впервые сами рабочие, а не отдельные группы ремесленников и лавочников, как в 1792 г., по собственной инициативе начали широкое общенациональное движение за создание парламента нового типа, который избирался бы рабочими и состоял бы из представителей рабочих. Уже одна эта идея была новаторская по своему существу. Но чартизм достиг и значительно больших высот: он ставил целью превратить избирательное право в оружие, способное оградить рабочих от подрывного влияния буржуазных «реформаторов» и завоевать для них неотъемлемые социальные блага, — по образному выражению Дж.Р.Стефанса, решить вопросы «ножа и вилки». Английские рабочие того времени, так же как и их французские собратья, могли приблизиться к осознанию своей роли как класса, лишь сочетая экономическую и политическую борьбу. Чартисты смогли бы подойти к этому, если бы они сочетали свою кампанию за Хартию с борьбой рабочих на заводах и шахтах. Но достичь этой цели, как и ряда других, им не удалось. Однако поражение это не было сокрушительным: столкновения рабочих с предпринимателями, войсками и «новой» полицией, происходившие на севере страны, в частности в промышленных городах Ланкашира летом 1842 г., оказали огромное влияние на все последующее развитие рабочего движения.

Молодой ученый Джон Фостер установил недавно⁷, что на периферии чартистского движения, в одном из небольших городков Ланкашира (и только там), была создана организация промышленных рабочих, члены которой достигли высокого уровня классовой сознательности. Создание подобной организации в тот момент как бы увенчивало предшествовавшее развитие

рабочего движения и являлось высшим выражением его идеологической радикализации. Выработка рабочими классового сознания, развивает Фостер свою мысль, зависит не только от новой идеологии, например социалистической, а и от сочетания радикальных идей с активными действиями рабочих на фабриках и заводах. (Именно это чартистам не удалось повсеместно осуществить.) Анализируя этот вопрос, Фостер приводит в качестве примера три английских города 30—40-х гг. XIX в., во многом походивших друг на друга: Олдгэм, центр хлопчатобумажной промышленности в Ланкашире; Саут-Шилдз, судостроительный центр в Дэреме; и Норсемптон, центр обувного производства Мидленда. Только рабочим Олдгэма удалось подняться на высшую ступень в ходе борьбы, тогда как в Норсемптоне и Саут-Шилдзе они, по выражению автора, оставались в плену «ложного сознания». Отделяя таким образом пшеницу от плевелов, Фостер показывает, что рабочие Олдгэма с начала 30-х гг. XIX в. накопили значительный опыт, сочетая активные действия на фабриках и в мастерских с политическими кампаниями по выдвижению всеми доступными им путями собственных радикально настроенных кандидатов в местные органы самоуправления и в парламент. В Саут-Шилдзе и Нортсемптоне рабочие, напротив, ограничивались лишь экономической борьбой; занимая в экономических вопросах жесткую позицию по отношению к предпринимателям, они в то же время упускали из виду политические аспекты борьбы. Это и был тот самый «экономизм», который критиковал Ленин в работе «Что делать?».

Но к 1848 г., как доказал Фостер, условия, положительно влиявшие на процесс выработки классового сознания рабочими Олдгэма, изменились; начиная с этого времени они, как и их собратья в Саут-Шилдзе и Норсемптоне, также оказались во власти ложного сознания.⁸

Это говорит о том, сколь трудным и тернистым был путь к коренному изменению идеологии рабочего класса. Известное положение Ленина о неравномерном развитии капитализма дает ключ к пониманию эволюции сознания английского рабочего класса в XIX в. В течение всего этого периода, отмеченного печатью глубоких перемен, начавшегося примерно с 20-х гг. XIX в., отдельные группы рабочих, как и некоторые районы Англии, уходили в своем развитии вперед, другие сильно отставали. В результате старое и новое в рамках одного и того же политического движения находились в состоянии неустойчивого равновесия. Это и неудивительно, если вспомнить о сохранившихся традиционных классах. Движением такого рода и был чартизм, наглядно продемонстрировавший неравномерность перехода к индустриальному обществу. Это нашло отражение в пестром составе чартистского руководства, среди которого были представители самых различных политических убеждений: «якобинцы» (как Джулиан Гарни), радикально настроенные тори (как Фергюс О'Коннор, стремившийся вернуть прошлое), поборники профсоюзного движения (как Питер Макдоуэл) и социалисты нового типа, например Эрнст Джонс, состоявший в переписке с Марксом. Подобными контрастами отмечена и практическая деятельность чартистов, принимавшая различные формы в разных районах страны. На одном полюсе — чартистские петиции, открывавшие новые перспективы, хотя и составленные по образцу радикальных документов минувшего столетия; Национальная чартистская ассоциация — прообраз рабочей партии — и организованное движение промышленных рабочих в районе Манчестера; на другом — «земельный план» О'Коннора, который считал индустриализацию и урбанизацию причиной всех бед и надеялся избавить общество от социальных пороков, вернув к земле людей, ставших при капитализме «лишними»; разрушение машин участниками «вентильных» бунтов, которое в «гончарных городках» Стаффордшира граничило с психозом.

Аграрные волнения того периода изменялись гораздо медленнее, чем выступления промышленных рабочих, использовавших наряду со старыми и новые формы борьбы. На протяжении всего этого периода прежние формы протеста, порожденные старой идеологией, не исчезали. Примеров тому достаточно: аграрные волнения в Восточной Англии в 1816 г. из-за низких

заработков, введения новых машин и повышения цен на хлеб; разрушение машин бунтовщиками «капитана Свинга» в южных графствах в 1830 г.; наконец, единственное в своем роде религиозное по форме выступление в 1838 г. кентских сельскохозяйственных рабочих, насмерть стоявших за своего самозванного мессию, называвшего себя сэром Уильямом Кортни. Несколько иным по характеру было движение сельскохозяйственных рабочих из Толпалла (Дорсет), создавших в 1834 г. филиал Великого национального объединенного союза профессий Оуэна. Оно было подготовлено пропагандистской кампанией сторонников Оуэна в Бирмингеме, и поэтому, строго говоря, его нельзя отнести к выступлениям сельскохозяйственных рабочих в собственном смысле слова. Все упомянутые выступления, кроме последнего, вдохновлялись «унаследованной» традиционной идеологией: бунтовщиков 1816 г. волновали прежде всего «справедливые цены» и «справедливая заработная плата». Участники бунтов «Свинга» 1830 г., сжигавшие амбары и разрушавшие машины, также требовали восстановить «справедливую оплату труда», которую лендлорды и фермеры значительно понизили, ссылаясь на свою собственную ложную интерпретацию закона о бедных; вдобавок введение новых машин, уменьшивших издержки производства, грозило повлечь за собой ее дальнейшее понижение. Бунтовщики, считая, что их незаконно лишают прав и требуя их восстановления, апеллировали к традиционным авторитетам: членам магистратов, королю, господу богу. В сентябре 1831 г. один из разрушителей машин, арестованный в Дилгэме (Норфок) и приговоренный к двухгодичному тюремному заключению, заявил на суде, что «разрушал машины во имя господ». Это звучит вполне в духе пуритан времен революции. (Кстати сказать, многие члены магистрата говорили то же самое несколько в иной форме.⁹) Во время волнений 1842 г. в Поттери один из бунтовщиков в Лонгтоне, неподалеку от Сток-он-Трента, тащил в костер рояль со словами: «Господь не выдаст — огонь меня не возьмет».¹⁰ Настоящие перемены в английской деревне начались лишь в 60-е гг.

На «Кельтской окраине» перемены приняли еще более затяжной характер. Голодные бунты вспыхивали в Корнуолле вплоть до 30-х гг. XIX в., а на Северном нагорье вплоть до «великого голода» 1847 г. Бунты против застав, прекратившиеся в самой Англии вскоре после наполеоновских войн, на севере и в Западном Уэльсе не затихали до 40-х гг. XIX в. В течение двух лет, с 1839 по 1842 г., «дочери Ревекки», вымазав сажей лица, в домотканых юбках, разрушали заставы и шлагбаумы на сельских дорогах в районе Карматена, Пемброка и Гламоргена.¹¹ На Северном нагорье фермеры, среди которых еще жива была память о сгонах с земли полувековой давности, в борьбе с лендлордами, управляющими имениями, магистратами, полицией и «чужаками» священниками прибегали к «прямым действиям» вплоть до 80-х гг. XIX в. (Насилие, впрочем, сводилось здесь к минимуму.) В Инвернесшире, в частности, свыше 200 человек были арестованы за участие в бунтах и нападение на полицейских в период с 1885 по 1888 г., то есть несколько лет спустя после так называемой «битвы на холмах» на острове Скай в 1882 г. — крупной стычки, завершившей «войну фермеров».¹²

Ссылки на источники

1. Более подробное описание этой изменявшейся с годами географии движений протеста см. в моей работе: *Protest and Punishment*, Oxford, 1978, p. 31—38.
2. О «деле королевы Каролины» см.: Stevenson J. в: *London in the Age of Reform*, под редакцией J. Stevenson. Oxford, 1977, p. 117—1148.
3. Rude, *Protest and Punishment*, p. 230.
4. The Secretary of the Black Committee of the Independent Luddites of Nottinghamshire Division" to R. Newcombe and Son, 11, November U816, P.R.O., H.O. 42/155, лит. в: Donnelly F.K. Ideology and Early English Working-class History: Edward Thompson and his Critics, *Social History*, № 2, May 1976, p. 226. Стиль этого документа, безусловно, свидетельствует о том, что он написан не простым рабочим-луддитом, а одним из более образованных сторонников движения, разделявшим радикальные идеи Коббета. Но независимо от его подлинности документ является образцом привнесенной в движение радикальной идеологии среднего класса, типичной для народного радикализма «доиндустриальной», «допролетарской» эпохи.

5. Hobsbawm and Rude. Captain Swing, p.102—103, 143.

6. Loveless G., The Victims of Whiggery. London, 1837.

7. Foster J. Class Struggle and the Industrial Revolution. Early Industrial Capitalism in Three English Towns. London, 1974.

8. Следует отметить, что Фостер не считает «ложное сознание» самодовлеющим фактором. Он отмечает, что «ложное» и «истинное» сознание, подобно другим компонентам человеческого существования, переживают периоды развития и упадка в историческом плане, то есть зависят от конкретных условий в значительно большей степени, чем от абсолютного или хотя бы частичного восприятия правильной идеологии. Таким образом, ложное сознание при благоприятных условиях имеет возможность превращаться в истинное, классовое сознание (или возржадаться как таковое). (Foster. Class Struggle, в частности, p.4—6).

9. *East Anglian*, 25 October 1831. **РОДНЫЕ НИЗЫ В ИСТОРИИ**

10. *Annual Register*, vol. 84 (1842), p.134.

11. Williams David. The Rebecca Riots; A Study in Agrarian Discontent. Cardiff, 1953.

12. Return of Offences committed in Crofting Parishes in the Highlands and Islands of Scotland, arising out of Disputes in regard to the Right to Land or the Rent of Land, during and since 1874, pp. 1883, LXXXII, 2—9. См. также: Richards Eric. Patterns of Highland Discontent 1(790-4860, в: *Popular Protest and Public Order*, под ред. J.Stevenson и R.Qumault. London, 1974.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БРИТАНИЯ

Выше речь шла о процессе развития народной идеологии от низкого уровня сознательности к более высокому; было показано, как идеология низов — рабочих и крестьян — постепенно обогащалась в результате усвоения новых идей, накопления политического опыта и непосредственного участия в борьбе. В данной главе ставится несколько иная задача — показать, что этот процесс определялся не только успехами, но и поражениями, а также объяснить, почему в Англии в рабочем движении после поражения чартистов наступил долгий период затишья (по выражению Энгельса, «сорокалетняя зимняя спячка»), сменившийся после недолгого оживления в 80-е гг. XIX в. чередованием побед и поражений — извилистой кривой на этой диаграмме развития рабочего движения в минувшем столетии.

Прежде всего следует остановиться на причинах кризиса в рабочем движении в середине века. Как случилось, что надежды, порожденные подъемом чартистского движения в 30—40-е гг., к 50-м гг. рассеялись, а высокий уровень классового сознания, которого, по данным Фостера, достигли, например, рабочие Олдгэма, не оставил никаких следов? Чаще всего и в первую очередь это объясняли тем, что английский капитализм, находившийся в состоянии кризиса и застоя в «голодные 40-е» и в предшествующие годы, постепенно стабилизировался, и Британия, превратившись в «мастерскую мира», вступила в период свободной торговли и торгово-промышленного господства. В результате возросли барыши имущих классов и кое-что стало перепадать широким слоям населения. Это весьма отрицательно сказалось на активности масс. Энгельс в своей работе «Положение рабочего класса в Англии» еще не мог предвидеть подобного развития; но в предисловии к английскому изданию этой работы, написанном значительно позднее — в 1892 г., признавал, что промышленное процветание улучшило положение фабричных рабочих, предотвратив перспективы революции, которую он предсказывал при жизни предшествующего поколения.¹ Э.Галеви, создатель теории, по которой стабилизирующим фактором английской жизни в начале XIX в. была религия, также признал, что в данном случае экономическое процветание сыграло большую роль, чем религия: описывая положение в Англии в 1852 г., он заметил, что более нет нужды искать причины порядка и устойчивости в английском обществе вне сферы экономики, как мы пытались это сделать в 1 томе (посвященном Англии 1815 г.).²

Такие объективные факторы, как промышленный подъем, дают, как правило, изначальный импульс процессу расслоения в рабочем движении; новые экономические кризисы, от которых не гарантировано капиталистическое общество, могут, напротив, повлечь за собой и новый его подъем. На протяжении второй половины XIX в. это случалось редко. Класс капиталистов и правительство, делившие прибыли, стремились разработать дополнительные конкретные меры, которые позволили бы им раз и навсегда сломить волю рабочих к сопротивлению. Какое-то время возможным решением представлялась им эмиграция населения в Канаду и Австралию, которая к тому же вполне соответствовала рецептам все еще популярного в те времена Мальтуса. Сомнительно, однако, что попытки сплавить рабочих активистов за границу привели бы к желаемым результатам. (Судя по современной карикатуре в «Панче», изображающей бедняка и работягу, чартиста, не устоявшего перед соблазнами эмиграции, это, видимо, считалось, возможным.) Другим средством решения вопроса была массовая пропагандистская кампания, инициаторы которой стремились убедить массы в ошибочности избранного ими пути. В конце 40-х гг. XIX в. целая когорта пропагандистов и апологетов классового сотрудничества проповедовала теорию социального мира. Сыграли свою роль в этом деле и христианские социалисты — Ф.Д.Морис, Чарлз Кингсли, Томас Хьюз, призывавшие всех братьев во Христе к сотрудничеству. Даже Томас Карлейль, с его репутацией смутьяна-«нонконформиста», в своих «новейших памфлетах» призвал предпринимателей вести со своими рабочими «честную игру», чтобы заручиться их поддержкой.³

Случайным или закономерным результатом всею этого и было рождение так называемой «рабочей аристократии». По-разному объясняя причины ее появления, историки сходятся во мнении, что рабочей аристократией была привилегированная верхушка промышленных рабочих, стремившихся обезоружить свой класс идейно и тем самым помочь предпринимателям сохранить стабильность и социальный мир. Признаком принадлежности к рабочей верхушке нередко был более высокий заработок, выплачивать который капиталистам в период значительного роста прибылей не составляло труда. И в любом случае рабочую аристократию отличала линия на классовое соглашательство, которую вышедшие из ее рядов рабочие лидеры и идеологи проводили как во время избирательных кампаний, так и постоянно на предприятиях. Некоторые историки, в частности Хобсбом и Фостер, считают, что рабочая аристократия возникла в 40—50-е гг. XIX в., другие придерживаются положений В.И.Ленина и относят ее появление к более поздней, империалистической стадии капитализма.⁴ С первой точки зрения, понятию «рабочая аристократия», относящемуся в данном случае скорее к группе лидеров, а не к рабочим, которые формировались по их образу и подобию, более всего соответствует известная «хунта» в составе Аллана, Энлгарта, Оджера и небольшой группы других руководителей, вершивших в течение 50—60-х гг. дела профсоюзов «нового типа». Несмотря на определенные заслуги и некоторые, безусловно, новаторские начинания, оказавшие влияние на все последующее развитие профсоюзного движения, эти лидеры, как писали С. и Б.Вебб, «безоговорочно переняли экономический индивидуализм своих противников из среднего класса и добивались свободного права на создание союзов только в пределах, определенных более просвещенными представителями среднего класса».⁵ Роберт Эплгарт, давая показания перед Королевской комиссией по делам тред-юнионов в 1867 г., следующим образом изложил условия приема в свой профсоюз (Объединенное общество плотников и столяров):

«Вступающий в профсоюз должен обладать хорошим здоровьем, иметь пятилетний стаж работы по профессии, быть хорошим специалистом, человеком морально устойчивым, со сложившимся характером, не старше 45 лет».⁶

Признавая, что одним из основных факторов, влиявших на процесс расслоения рабочего класса, было возрастание национального богатства, Джон Фостер указывает и на целый ряд других методов и приемов, разработанных отдельными группами капиталистов или всем классом в целом для стабилизации общества и промышленности. Комплексное применение всех этих методов Фостер, называвший его «либерализацией», описывает на начальной ее стадии — в 40-х гг. XIX в. — на примере того же Олдгэма, где она принимала самые различные формы: дифференциация заработной платы в целях разъединения рабочих; отрыв рабочей массы от ее признанного авангарда путем принятия половинчатых мер в интересах рабочих; поддержка буржуазными политиками требования о 10-часовом рабочем дне, что делало неизбежный компромисс более приемлемым для рабочих; принятие тори и последователями Коббета радикальных рабочих лозунгов, суть которых они впоследствии извращали. В Олдгэме, например, в 1852 г. был принят совместный манифест, его авторы наряду с требованием 10-часового рабочего дня и отмены закона о бедных подчеркивали необходимость «поддерживать справедливое равновесие между трудом и капиталом и особенно защищать трудящиеся классы от растлевающего влияния ложной политэкономии».⁷

Необходимым условием упрочения этого классового партнерства между рабочим и предпринимателем было искоренение тяги рабочих к выработке своего классового сознания. Этой цели и послужила созданная правящим классом единая система ценностей — институтов, ритуалов и социальных ролей, всего того, что Трюве Толфсен определил понятием «связующей культуры». Толфсен показал, как в течение всего лишь двадцати лет удалось заменить «культуру, раздираемую социальными противоречиями», другой — «связующей культурой», представлявшей собой «систему общепризнанных ценностей, институционализированную и укоренившуюся в обществе». Главными составными элементами ее он считает:

1. Стремление добиться личного успеха и продвижения упорным трудом, соблюдением трудовой дисциплины и бережливостью — основной принцип, которого в равной степени придерживаются и рабочие и предприниматели, внося свой вклад в выполнение общих задач.

2. «Моральное совершенствование» рабочего класса как постоянная цель.

3. Проповедь личных добродетелей, включая трезвость и призыв к спасению души.⁸

Все эти идеи насаждали и укореняли самыми различными способами и чрезвычайно быстро; определенную роль сыграли здесь рабочие клубы, газеты, воскресные школы, школы механиков, общества взаимного совершенствования, читальни, библиотеки, сберегательные кассы, церкви, молельни. Толфсен приводит несколько примеров, цитируя, в частности, принятый в 1865 г. устав рабочего клуба в Ньюкасле, вменявший его членам в обязанность «светские контакты, взаимопомощь, интеллектуальное и моральное совершенствование, разумный досуг».⁹ Толфсен, правда, оговаривается, что капитуляция перед буржуазной идеологией была не столь полной, как ото кажется на первый взгляд. Во-первых, рабочие не воспринимали некритически всю систему ценностей «среднего класса». Прежде всего это касается свободы предпринимательства, пропагандировавшейся в то время апологетами вроде Самуэля Смайлса. В подтверждение Толфсен цитирует газету «Бихейв» за 1860 г., которая, призывая к «эмансипации рабочих путем самоусовершенствования», разоблачала в то же время пороки неограниченной конкуренции. Более того, причины капитуляции рабочих перед идеологией «среднего класса» были заложены еще в самом чартистском движении. Соглашательские идеи в зародыше содержались уже в призывах радикалов того периода. Так, например, группа оуэнистов в Хаддерсфильде в 1844 г. призывала «классы к взаимному совершенствованию... взаимному содействию в моральном и социальном развитии и к духу взаимной симпатии». В чартистском циркуляре 1841 г. говорится:

«Мы признаем, что классовое законодательство навлекло на нас неисчислимые беды, затуманило умы и разбило сердца целого поколения тружеников, но мы не можем забывать и о том, что свобода не улучшит положение человека, являющегося рабом собственных пороков».¹⁰

Таким образом, уже в предшествующий описываемому период рабочего движения некоторые представители чартистов и близких к ним групп ставили во главе угла самоусовершенствование и спасение души, готовя тем самым почву для последующей капитуляции перед господствующей буржуазной культурой и создавая предпосылки для того, чтобы капитуляция эта прошла гладко и безболезненно. Внимание к вопросам личного совершенствования в конечном счете оказалось не столь уж серьезной помехой для последующего развития рабочего движения, напротив, оно даже помогало серьезней подойти к организационным вопросам и экономней расходовать наличные ресурсы, чего явно не хватало таким недолговечным организациям, как оуэнистский Национальный объединенный союз профессий, созданный за двадцать лет до этого. У лидеров нового типа было чему поучиться; при всей своей «респектабельности», стремлении подражать образу жизни «среднего класса» и заимствовать его ценности, они, бесспорно, имеют и заслуги перед более поздними поколениями: создав прочные национальные организации, по крайней мере для квалифицированных рабочих и шахтеров, они оставили своим потомкам в наследство немалый капитал, приносивший большие проценты. Следует помнить также, что именно в эти в высшей степени благонадежные времена возникли Лондонский совет профсоюзов и Конгресс тред-юнионов, а в 1872 г. Джозеф Арч создал первый крупный профсоюз сельскохозяйственных рабочих. И сам Арч, подобно представителям предшествующего поколения руководителей Аллану и Эплгарту, на протяжении всей своей жизни был твердым сторонником «опоры на собственные силы и свободы», «порядка и прогресса».¹¹

Нельзя забывать и о том, что распространение идеалов «среднего класса» с 40-х гг. XIX в., хотя и задержало развитие классового сознания рабочих в промышленных районах, не было само по себе абсолютным злом. Эти идеалы легли в основу общенациональной «культурной стабильности» викторианского периода, сохранявшейся вплоть до середины 70-х гг., когда Германия и США бросили вызов торгово-промышленному господству Англии; последовавшая серия кризисов в сельском хозяйстве и промышленности, сменявших друг друга до конца 80-х гг., вызвала массовую безработицу и рост недовольства. В этой обстановке и была предпринята первая серьезная попытка объединить неквалифицированных рабочих (докеров и газовщиков).¹² В профсоюзы впервые стали широко проникать марксистские идеи. Именно в это время (в начале 90-х гг. XIX в.) Уильям Моррис, член основанной незадолго до этого Социалистической лиги, заявил, что непосредственной задачей социалистической партии должна стать выработка подлинно социалистического сознания у рабочих, которым наконец необходимо «осознать себя силой, противостоящей несправедливому обществу, и единственными членами нового, справедливого общества».¹³ В мае 1890 г. британские профсоюзы, несмотря на возражения консервативно настроенных лидеров старых профсоюзов, приняли участие в праздновании международного дня 1 Мая, проведенного в Лондоне под лозунгом борьбы за 8-часовой рабочий день. Энгельс назвал это событие важным и грандиозным. «4 мая 1890 г., — писал он, — *английский пролет ариат*, проснувшись от сорокалетней зимней спячки, снова включился в движение своего класса... Внуки старых чартистов вступают в боевые шеренги».¹⁴

Но надежды, которые породили у социалистов эти события, быстро развеялись. Выйдя из кризиса, создавшего предпосылку для «нового юнионизма», оживления социалистических настроений и развертывания кампании за 8-часовой рабочий день, Англия, так же как и Германия, Франция, Россия (позднее и Америка), вступила в стадию империализма. Империализм, оправдав соответствующие расчеты Сесилия Родса и Джозефа Чемберлена, породил у английских рабочих те же чувства защищенности и превосходства над своими товарищами за рубежом,

которые у рабочих периода Великой выставки вызвала уверенность в торговом превосходстве Англии над ее соперниками. Конечно, в периоды кризисов — в 1911 — 1914 гг., 1920—1922 и в 1926 г. — рабочие начинали понимать, что плоды колониальной экспансии распределяются между классами неравномерно; но радужным надеждам 1890 г. так и не суждено было оправдаться: отсутствие у английского рабочего движения социалистической теории сужало, как отмечал Энгельс, классовое сознание.

Одного лишь непрекращающегося процесса развала империи, разумеется, недостаточно, чтобы английские рабочие сами по себе сразу отреклись от убеждений, вырабатывавшихся в течение столетия. Растлевающее влияние колониализма и память о былой славе все еще довлеют над твердолобыми консервативными функционерами, составляющими ядро английского рабочего движения. Не следует, однако, считать, что все так и останется на веки вечные. «Ложное» сознание не отделено от «истинного» китайской стеной, как думают некоторые. Рабочие помнят не только о поражениях, но и о победах. Влияние даже самой изощренной пропаганды на глубоко укоренившиеся взгляды и убеждения не беспредельно. Ричард Хогарт, анализируя влияние на рабочих Лидса сладкоголосой буржуазной прессы и других мультипликаторов развращающих идей общества потребления 50-х гг. XX в., пришел к правильному в основном выводу: «Рабочий класс обладает врожденной способностью противостоять перерождению, *воспринимая и усваивая только то новое, которое ему необходимо, и не придавая значения всему остальному*».¹⁵

Это само по себе обнадеживает. Однако внимательный читатель может возразить, что в этой цитате речь идет лишь об «унаследованных» убеждениях. Для победы в решающих классовых битвах одних их недостаточно. Чтобы одержать победу, простые труженики, прежде всего рабочие и крестьяне, должны обогатить свою идеологию «привнесенными» идеями, обобщением опыта классовых битв прошлого, всем тем, что Маркс и Энгельс независимо друг от друга называли теорией.

Ссылки на источники

1. См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.22.
2. H a l e y E.A History of the English People, IV, 337; цит. в: Tholfsen Trygve R. The Intellectual Origins of Mid-Victorian Stability. — *Polit. Sci. Quart*, LXXXVI (March, 1971).
3. Smith R. B. Loc. cit.
4. Moorhouse H.F. The Marxist Theory of the Labour Aristocracy *Social History*, II (January 1978), 61—82.
5. Webb S. and B. The History of Trade Unionism, London, 1896, p.22H.
6. Первый доклад Королевской комиссии по делам тред-юнионов, PP 1867, XLV (8), 12—13; цит. в: *Contemporary Sources and Opinions in Modern British History*, под редакцией L. Evans and P. Pledger, 2 vols, Melbourne, 1967, II, 40—42.
7. Foster. Class Struggle., p.203.
8. Tholfsen, p.61.
9. Ibid., p.63—64.
10. Ibid., p.68.
11. Dunbabin J.P.D. Rural Discontent in Nineteenth-Century Britain. London, 1974, p.262.
12. О значении забастовки докеров 1889 г., давшей пример организованности, дисциплины и целеустремленности лондонским «низам», стихийно выступавшим в 1886 г., см.: Jones Gareth Stedman. Outcast London. Oxford, 1971, p.315—321.
13. Цит. в: *Political Writings of William Morris*, под редакцией A.L. Morton, p.232—233.
14. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.22, с.64, 70.
15. H o g g a r t R. The Uses of Literaci. London, 1957, p.52 (курсив мой. Дж.Р.).

Д ж о р д ж Р ю д е

НАРОДНЫЕ НИЗЫ в ИСТОРИИ 1730 – 1848

Перевод с англ. Е.Бухаровой и О.Зелениной
Предисловие и редакция д.ист.н. М.А.Барга

М.: Прогресс. 1984

Веб-публикация: редакторы сайтов *Vive Liberta* и *Век Просвещения* 2008

ЛИКИ ТОЛЫ

В предыдущих главах было дано некоторое представление об изменчивом составе тон части общества, которую я условно назвал народными низами «доиндустриального» периода. Были рассмотрены, например, такие вопросы, как роль крестьян и сельских ремесленников в сельскохозяйственных бунтах во Франции и сходная роль промышленных рабочих в Англии; разрушение машин как наиболее распространенная форма экономической борьбы английских шахтеров и ткачей; возрастной состав бунтовщиков; участие женщин в некоторых основных событиях Французской революции и та роль, которую фермеры и сельскохозяйственные рабочие соответственно играли в голодных бунтах в Англии в 30-е и 40-е гг. XIX в., а рабочие железнодорожных ремонтных мастерских Парижа — в событиях июня 1848 г. Все эти примеры позволяют предположить, что характер и формы массовых выступлений тесно связаны с социальным, профессиональным и т.д. составом их участников. Однако этому аспекту проблемы историки и социологи почти не уделяли внимания. Историки, как мы видели, стремились обойти этот вопрос, оперируя такими общими, предвзятыми или субъективными категориями, как «чернь» и «толпа» и, следуя языку графа Клорендона, «немытые безымянные люди», «каналы» по примеру Тэна или «плебс», повторяя Мишле. Судя по всему, они пришли к выводу, что независимо от того, заслуживают ли те или иные массовые выступления похвалы или порицания, низы следует трактовать как некую абстрактную категорию, безликую и однородную. Но и социологи, авторы серьезных исследований, посвященных проблеме поведения масс и обусловливавших его мотивов, сделали в этом отношении немногим больше.

Во вступлении к данной работе указывалось на сложность обсуждаемой проблемы. Мало того, что историки в данном случае имеют дело лишь с «мертвым» архивным материалом, последний по большей части недостаточно полон и достоверен. Поэтому, если нас интересуют социальные и профессиональные различия, нелегко определить, был ли упомянутый в документе «плотник» мастером или наемным рабочим. Как напоминает профессор Собуль, Морис Дюпле, к примеру, в чьем доме на Рю-Сен-Оноре в Париже жил Робеспьер, описан в источниках как столяр-краснодеревщик, тогда как он пользовался трудом 30 наемных рабочих; его годовой доход составлял 10-12 тысяч ливров, и, по словам его дочери, он ни за что не позволил бы кому-нибудь из своих рабочих или учеников сесть с ним за один стол¹. Дело здесь, конечно, не в том, что клерки того времени были небрежны в таких вещах, просто современники XVIII и начала XIX вв., даже столь усердные и методичные, как полицейские комиссары и секретари-переписчики, оценивали общественные явления в иных социальных категориях по сравнению с теми, которыми мы оперируем сегодня. Пока общество оставалось по своей структуре иерархическим, а мобильность между классами была явлением довольно редким — или, во всяком случае, фактором предосудительным с точки зрения властей, — место индивидуума в обществе определялось в основном не классовой принадлежностью, а разного рода «рангами», «чипами», «постами» и «званиями»: в силу различных исторических условий это иерархическое разделение сохранилось во Франции дольше, чем и Англии.

Во Франции до революции было общепризнанным, что наиболее значительным общественным водоразделом был тот, который отделял привилегированных (знать и духовенство) от простолюдинов; к последним официально причисляли крестьян и банкиров, мастеров и наемных рабочих, фигурировавших под общим наименованием «третье сословие». Правда, неофициально и тогда уже проводили грань между собственниками или достопочтенными людьми (как знатного происхождения, так и незнатного) и лицами физического труда, выделяя крестьян, как правило, в отдельную социальную категорию. Однако категория рабочих по-прежнему применялась как для обозначения владельцев мастерской, так и работающих у них по найму. Только с начала нынешнего века «рабочим» стали называть человека, не просто занятого физическим трудом, а продающего свой труд предпринимателю. В Англии, где капиталистические отношения возникли раньше и развивались быстрее, переход к современной «терминологии классов», пройдя те же стадии, занял меньше времени. В 20—30-х гг. XIX в. слово «мануфактурист» могло означать и непосредственного производителя, и предпринимателя; термин «класс» до 1805 г. не употреблялся для обозначения социальной принадлежности; термины «рабочий класс» и «средины классы», вошедшие в обиход в 1812 г., до середины века употреблялись значительно реже, чем «трудящиеся классы» (эквивалент французского «classes laborieuses»). Старые же понятия, вроде «ранги», «чипы», «степени», окончательно вышли из употребления лишь тридцать лет спустя².

Вышеизложенное подтверждает, что даже в тех случаях, когда источники достаточно точно фиксируют имена, описывают отличительные особенности какой-либо категории бунтовщиков и забастовщиков, их правильная интерпретация — дело далеко не простое. Вместе с тем не следует поддаваться искушению осмыслить прошлое в категориях сегодняшнего дня, характеризуя массы «доиндустриального» периода в терминах более позднего времени. Именно за это критиковали французского писателя Даниэля Герена, отождествлявшего французских санкюлотов 1793—1795 гг. с представителями современного рабочего класса, только на ранней стадии его развития. Было бы, однако, столь же ошибочно впадать в другую крайность, слишком буквально и некритически воспринимая термины, употреблявшиеся писателями и историками изучаемого периода. Так, например, авторы петиции или полицейские агенты в XVIII в. могли использовать термин «рабочие» или «трудящиеся классы» применительно и к предпринимателям, и к рабочим. Общество находится в процессе непрерывного развития, и требуется определенный промежуток времени, прежде чем возникновение новых общественных форм и сил отразилось бы на «языке класса» в словарях и энциклопедиях. Приведем один лишь наглядный пример: появление новых классов — фабричных рабочих и промышленных предпринимателей, продукт английской промышленной революции, — стало объективной реальностью общественной жизни задолго до того, как современники осознали то, что произошло. В этом случае историк позднейшего времени, столь часто оказывающийся в невыгодном положении, имеет одно безусловное преимущество: он может в ретроспективе окинуть взглядом весь ход общественного развития и благодаря этому установить более точно суть происшедшего и на этом основании ввести в практику и соответствующие термины. Однако и на этом пути его подстерегает немало ловушек, требующих предельной осторожности; все выводы относительно социального состава масс «доиндустриального» периода, к которым можно прийти на основании изучения источников того времени, следует формулировать гипотетически, не претендуя на истину в последней инстанции.

Начнем с одного весьма распространенного заблуждения. По мнению Тэна и Гюстава Ле Бона, типичная мятежная толпа или революционная масса состоит из уголовных элементов, бродяг (французские — *gens sans aveu*) и разных подонков и отбросов общества. Ле Бон, например, доказывает этот тезис двояко: с одной стороны, толпа низводит и социально здоровые, рационально мыслящие элементы до общего животного уровня; с другой — она обладает притягательной силой для преступных, социально деградировавших элементов, лиц, обладающих ярко выраженным инстинктом разрушения³. Английские историки XVIII в., как правило, не оспаривали эту точку зрения. Правда, они избегали слишком унижительных выражений, но тем не менее квалифицировали городскую «чернь» как «обитателей трущоб», беднейших из бедных. Так, Дороги Джордж

считала, например, главными участниками Гордоновых бунтов 1780 г. «жителей опасных районов Лондона, всегда готовых пойти на грабеж». Исследователь более позднего времени Дороти Маршалл безапелляционно утверждала, что «толпа» состоит главным образом из социальных отбросов, сводников, проституток, воров и укрывателей краденого⁴. Судя по многочисленным свидетельствам, и хронисты того времени — представители как аристократии, так и средних классов — придерживались того же мнения.

Можно ли, однако, принять эту точку зрения, имеющую столь многочисленных сторонников? Действительно ли бунтовщиками, забастовщиками, мятежниками были в то время социальные отбросы, те самые «обитатели опасных районов», употребляя выражение Дороти Джордж, или, как писал Луи Шевалье, представители «опасных классов»?⁵ Современный уровень знаний не позволяет дать окончательный ответ на этот вопрос; более того, на основании имеющихся в нашем распоряжении документальных материалов и при незначительном объеме проведенных до сегодняшнего дня соответствующих исследований было бы абсурдом претендовать на это. И все же достаточно веские аргументы позволяют оспаривать вышеизложенную традиционную точку зрения, хотя на первый взгляд она кажется обоснованной. Нельзя отрицать, например, что социальные потрясения — причина бунтов того времени, как, впрочем, и любого другого, — создавали благодатную атмосферу для мелких уголовников всех мастей, готовых участвовать в любых беспорядках — будь то бунт или революция, чтобы нагреть себе руки. В предыдущих главах уже приводились многочисленные примеры, поясняющие эту мысль. Так, например, участники Гордоновых бунтов под лозунгом «Долой папизм!» ворвались в тюрьмы и освободили несколько сотен преступников, в их числе 134 — из Ньюгейта и 119 — из Кларкенуэлла Брайдуэлла; Горас Уолпол был недалек от истины, написав в разгар беспорядков, что «гораздо больше людей погибло от пьянства, чем от пули или штыка». Стоит вспомнить в этой связи и об одном из самых примечательных эпизодов Французской революции — о разграблении в июле 1789 г. монастыря Сен-Лазар в северной части Парижа: городская голытьба и безработные вынесли оттуда все до нитки. Подобные случаи были не редкостью в истории революций. И все же этих примеров, подтверждающих, казалось бы, точку зрения последователей Тэна и Ле Бона на природу «черни», недостаточно для ее обоснования. Более того, полицейские и судебные протоколы — источники, как считают, ненадежные, но, на наш взгляд, все же более достоверные, чем отрывочные и предвзятые свидетельства случайных наблюдателей, — опровергают эту точку зрения.

Приведу несколько примеров: из 160 человек, представших перед судом после подавления Гордоновых бунтов, лишь немногие имели судимость в прошлом. Показательно также, что многих арестованных их соседи и работодатели характеризовали положительно, обстоятельство тем более примечательное, что доносчики, напротив, как правило, пользовались скверной репутацией. Кроме того, почти все арестованные имели постоянное местожительство и занятие; только 15 было предъявлено обвинение в воровстве, которое, кстати сказать, в восьми случаях так и осталось недоказанным⁶. Дошедшие до наших дней гораздо более полные свидетельства о голодных бунтах во Франции в 1775 г., подробно описанных в одной из предыдущих глав, позволяют сделать более определенные выводы. Ранее уже упоминалось, что при подавлении эти бунты полиция арестовала несколько сотен человек и, тщательно обыскав их, подвергла перекрестному допросу. Это позволило установить, кто из арестованных был нанят за деньги, кто был ранее заклеен на каторге или подвергался тюремному заключению за уголовные преступления и иные провинности. Результаты расследования показали, что почти все арестованные были местными жителями, бродяг насчитывалось всего несколько человек, а многие (особенно из арестованных в Париже) имели постоянное местожительство; тюремному заключению ранее подвергались лишь немногие из арестованных, причем, за единственным исключением, за мелкие преступления⁷.

Аналогичные, хотя и не столь детальные свидетельства можно обнаружить и в официальных документах, относящихся к тем или иным этапам Великой Французской революции 1789—1795 гг. В сведениях об арестованных, убитых и раненых или просто участниках событий. В начале 1789г. Париж был наводнен безработными из провинции и городской голытьбой, что вызывало серьезное

Джордж

беспокойство как старых, так и новых властей города. Однако бродяги и преступные элементы играли крайне незначительную роль в бурных событиях того года, за исключением упоминавшегося выше ограбления монастыря Сен-Лазар. Из 68 человек, арестованных, убитых или раненых в ходе Ревейоновых бунтов в предместье Сент-Антуан в конце апреля, только 2 не имели постоянного места жительства, 3 других отбывали ранее тюремное заключение, причем из этих последних лишь один был заклеен за воровство. После взятия Бастилии не был арестован ни один человек — верный признак победы революции, однако до нас дошли имена всех 662 так называемых победителей Бастилии. Все они имели работу и постоянное местожительство; большинство жили в Сент-Антуанском предместье и соседних районах города. На последующих этапах революции качественный состав участников не претерпел изменений. Очередная крупная массовая демонстрация состоялась на Марсовом поле 17 июля 1791 г., куда тысячи людей пришли по призыву Клуба кордельеров для подписания петиции с требованием отречения Людовика XVI. В ходе беспорядков, сопутствовавших этим событиям, полиция и национальная гвардия арестовали 250 человек, предъявив им многочисленные обвинения; среди арестованных было 2 нищих, 3 не имели постоянной работы, 4 были судимы ранее (за незначительные преступления), но подавляющее большинство имело постоянное место жительства и работу. То же самое, без сомнения, можно сказать и об участниках штурма Тюильри в августе 1792 г., сокрушившего монархию. Основанием для такого вывода служат не только сведения о биографиях и занятиях восставших, почерпнутые из документов, но и тот факт, что в вооруженные отряды, участвовавшие в штурме Тюильри, принимались только лица с постоянным местом жительства. Дошедшие до нас свидетельства о волнениях 1793—1795 гг. не столь убедительны, но и они подтверждают вывод о том, что массы, совершившие Французскую революцию — на всех ее этапах, а не только в дни решающих политических событий, — состояли в основном из рассудительных граждан с постоянным местом жительства. Правда, это были люди простого происхождения, многие временно не имели работы, но бродяг, воров, проституток и прочих представителей социального дна было среди них совсем немного⁸.

Материалы об английских аграрных бунтах, особенно XVIII в., не столь подробны и доказательны: приходится полагаться на отрывочные и случайные свидетельства очевидцев, членов магистратов и газетчиков. Но и здесь складывается впечатление, что народный бунт и преступление — скорее случайные и временные попутчики, чем близкие знакомые. В 1776 г., когда волнения охватили южные, юго-восточные и западные графства, корреспондент «Джентльмене мэгэзин» сообщал из Беркшира: «В Рединге по приговору проведенной там выездной сессии суда присяжных за грабежи на дорогах казнены двое преступников — Уильям Симеон и Джон Скелтон. Они не принимали участия в мятеже»⁹.

Правда, в этой заметке ничего не сказано о полицейских протоколах, касающиеся участников беспорядков, по примечательно само по себе, что корреспондент счел необходимым разграничить два вида народной активности. Выше уже отмечалось, что «бунты Ревекки») в Западном Уэльсе и луддитские беспорядки на севере Англии на некоторых этапах сопровождались актами бандитизма, грабежами, беспричинными нападениями на граждан и уничтожением их имущества. Однако подобные действия играли второстепенную роль, будучи делом рук тех, кто пытался поживиться за чужой счет, воспользовавшись общей неразберихой во время бунтов*.

Сохранились достаточно подробные свидетельства о некоторых из упомянутых выше выступлений более позднего периода. Так, австралийские тюремные архивы, относящиеся к 30—40-м гг. XIX в., не менее точны, чем протоколы французской полиции, составленные за полвека до этого. Они свидетельствуют о том, что из 30 гончаров, шахтеров и других рабочих, сосланных на Тасманию за уничтожение имущества и разрушение домов в гончарных городках Стаффордшира в 1842 г., лишь 8 человек имели ранее судимость: один — за оскорбления и угрозы, другие — за разрушение изгородей, бродяжничество, за самовольный уход с работы, и только двое — за более серьезные правонарушения: изнасилование и грабеж**. Значительно большее число людей было сослано в Австралию за участие в бунтах «Свинга» в 1830 г. 94 из 325 сосланных на Тасманию и 11 из 139 сосланных в Новый Южный Уэльс

подвергались ранее арестам или тюремному заключению: в нерпой группе — чаще всего по обвинению в браконьерстве (в 32 случаях из 94); лишь человек 8—10 отсидели в тюрьме по шесть или более месяцев за словесные оскорбления и угрозы и воровство¹⁰.

Таким образом, лишь каждый четвертый бунтовщик из сосланных в 1842 г. и по двое в каждой девятке ссыльных 1830 г. ранее подвергались арестам или отбывали тюремное заключение***. Это, бесспорно, значительно превышает аналогичные показатели для участников хлебных бунтов 1775 г. или Французской революции. Однако для полноты картины необходимо сравнить процент лиц с повторной судимостью среди бунтовщиков и среди других правонарушителей, отправленных в эти две австралийские колонии за все время, в течение которого они служили местом ссылки; во второй группе этот процент, по подсчетам Ллойда Робсона, составлял 61¹¹. Относительно облика бунтовщиков, сосланных на Тасманию, можно в этой связи сделать еще более далеко идущие выводы, сравнив их поведение в колонии с поведением других заключенных. Участники бунтов 1842 г. получали предупреждения или были наказаны 91 раз, — иными словами, на каждого из них за время пребывания в колонии приходилось в среднем по 3 проступка; на каждого высланного сюда участника бунтов «Свинга» — по 1,7 проступка, тогда как другие преступники, высланные на Тасманию за период с 1803 по 1852 г., совершали (по данным Робсона) в среднем по 6 проступков на каждого до 1840 г. и по 4 — в последующий период. Безусловно, и среди бунтовщиков той и другой группы попадались такие, которые совершили в период ссылки значительно больше правонарушений (от 12 до 15), в том числе такие серьезные преступления, как изнасилование, грабежи и т.п. Однако в целом бунтовщики, и особенно ссыльные 1830 г., положительно зарекомендовали себя в глазах властей. Губернатор Артур, например, неоднократно отзывался о них как о людях примерного поведения, заключенных «высшего разряда»¹². Таким образом, имеются все основания сделать вывод, что и в этом случае преступление и бунт были случайными соседями, а не неразлучными спутниками.

Правда, свидетельства такого рода еще не позволяют полностью опровергнуть тезис, согласно которому «доиндустриальные» массы состояли главным образом из «трущобных жителей» больших городов, обитателей «неспокойных» районов и представителей «опасных» социальных групп. Окончательный вывод в данном случае можно сделать только на основании исчерпывающего анализа. На сегодняшний день имеются еще серьезные пробелы в этой области: недостаточно подробно освещены лондонские и парижские бунты начала XIX в. М. Луи Шевалье в своей работе о «трудящихся» и «социально опасных» классах Парижа 20—40-х гг. XIX в., представляющей собой блестящий образец социологического и демографического анализа населения в целом, обходит почти полным молчанием вопрос о составе участников мятежей и бунтов¹³: социологические проблемы Лондона XIX в. еще ждут своего исследователя. Поэтому нам придется обращаться к имеющимся уже работам, посвященным Французской революции и выступлениям лондонской «черни» XVIII в.. Содержащиеся в них факты позволяют сделать вывод, который вряд ли придется по душе «моралистам» и сторонникам традиционного взгляда на социальную структуру общества: восстания, забастовки и революционные выступления масс имели место чаще всего вовсе не в самых густонаселенных или самых «опасных» городских районах. В период Французской революции основными центрами революционной активности масс были районы «мелкого ремесленного производства» — Сент-Антуанское и Сент-Марсельское предместья и секция Гравилье, прилегавшие к густонаселенным районам города вокруг Главного рынка и ратуши. Еще более показательна в этом отношении «топография» лондонских бунтов. Конечно, голытьба из Сейнт-Джайлс-ин-зе-филдз и пользующихся дурной репутацией кварталов Холборпа (Филд-Лейн, Чик-Лейн, Блэк-Бой-Элли) — рассадниках мелкого воровства и пьянства, где селились главным образом поденщики и беднейшие из ирландских иммигрантов, охотно ходила па Тайберн-Фэр посмотреть на казни, о чем сокрушался Фрэнсис Плесис; но непосредственными участниками бунтов были по большей части граждане, имевшие постоянную работу и проживавшие в спокойных кварталах, таких, как Сити, Стрэнд, Саутварк, Шордич, Спайтл-филдз¹⁴.

Но если обитатели трущоб и уголовные элементы не были главными ударными отрядами бунтующих масс «доиндустриального» периода, то кто же был их главной действующей силой в ходе бунтов и революций? Краткий ответ на этот вопрос едва ли вызовет удивление. Это были «низшие» слои городского и сельского населения, *le peuple*, те, кого в Париже и других городах Франции называли в период революции санкюлотами. Бывали, безусловно, и исключения, когда к восставшим примыкали представители других социальных групп: например, в бурных событиях 1787—1795 гг. в Париже принимали участие студенты, учителя, военные, государственные служащие, представители судейского сословия, мелкие рантье, а в роялистском восстании в октябре 1795 г., (13 вандемьера) они, по-видимому, сыграли главную роль. В Лондоне во время Уилксовых бунтов 1763—1771 гг. «граждане почище» также в ряде случаев присоединялись к «черни». Однако, как правило, коммерсанты, предприниматели и просто более или менее зажиточные домовладельцы не принимали участия в демонстрациях и бунтах, не осаждали Бастилию, не брали штурмом Королевский дворец. Поскольку это касается стачек и бунтов, то это настолько ясно, что в доказательствах не нуждается. И даже в тех случаях, когда симпатии значительной части имущим классов были на стороне участников движения, первые предпочитали действовать руками плебса. Так это было в Париже во время революционных событий 1789 и 1792 гг., в июле 1830 г. и феврале 1848 г.; в Англии (хотя сравнение здесь весьма сомнительно) во время Уилксовых бунтов, в начальных фазах Гордоновых бунтов и в кампании 1831 г. за билль о реформе. (В Англии «низшие» слои чаще всего не получали действенной поддержки со стороны средних классов, что имело определенные политические последствия, которые будут проанализированы ниже.)

Таким образом, во Франции основными участниками бунтов и волнений того времени в городах были владельцы небольших мастерских, лавочники, подмастерья, самостоятельные ремесленники, рабочие мастерских и чернорабочие и городская голытьба, а в сельской местности — виноделы, мелкие крестьяне-собственники, деревенские ремесленники, безземельные батраки. В Англии к первым относились мелкие лавочники, уличные торговцы, ремесленники, наемные работники, прислуга и чернорабочие; ко вторым — ткачи, шахтеры, чесальщики шерсти, мелкие фермеры, фригольдеры, батраки на фермах и сельские ремесленники. В Англии фабричные рабочие начали принимать более или менее активное участие в массовых выступлениях только в 1830 г. (за исключением забастовок, в которых они участвовали и до этого). Во Франции они никак не были представлены в революционных боях 1789—1795 гг., да, по сути дела, и в событиях февраля и июня 1848 г.; что же касается рабочих мануфактур (текстильных, стекольных, табачных, фарфоровых и ковровых), то в событиях 1789 г. они играли далеко не столь заметную роль, как портовые грузчики и мастеровые на стройках.

Бесспорно, все вышеизложенное доказывает лишь то, что состав бунтовщиков в городах и в сельской местности в общем отражает социальную структуру «доиндустриального» общества. Однако это далеко не все, что можно сказать, поскольку категории бунтовщиков из «низших» слоев населения значительно варьировались от одного выступления к другому. И такие различия могут быть в высшей степени поучительны, поскольку проливают дополнительный свет на вопрос о природе самих беспорядков. Говорить о составе участников трудовых конфликтов, казалось бы, особо не приводится; однако и в этом случае можно было бы получить более четкое представление о сути того или иного конфликта, если бы сохранились документальные свидетельства о том, принадлежали ли их участники к низкооплачиваемой или высокооплачиваемой категории рабочих. В Лондоне, например, грузчики угля, ткачи, шлифовщики стекол и шляпочники, бастовавшие в 1768—1769 гг., получали более высокую заработную плату, чем рабочие большинства других профессий.

В истории Французской революции известен только один случай, когда рабочие, занимавшие особое место среди санкюлотов, сыграли, по-видимому, главную роль в выступлении, не являвшемся чисто трудовым конфликтом; речь идет о Ревейоновых бунтах в апреле 1789 г., участники которых требовали не только снижения цен на продукты питания, но и повышения заработной платы. В той же связи следует отметить, что женщины действовали более активно в тех случаях, когда на первый план выдвигались требования о снижении цен на

продовольствие и об удовлетворении других насущных потребностей трудящихся. Примером могут служить поход на Версаль в октябре 1789 г., голодные бунты 1792—1793 гг., последнее восстание санкюлотов в мае 1795 г. Во всех других случаях, особенно когда массовые выступления носили организованный характер, как, например, демонстрация на Марсовом поле, штурм Бастилии и Тюильри, в качестве основной движущей силы выступали хозяева небольших мастерских, самостоятельные ремесленники и наемные работники. Мелкие лавочники и владельцы небольших мастерских — главные носители революционных идей и лозунгов среди «низшего сословия» — зачастую привлекали своих наемных работников, учеников и подмастерьев к участию в совместных действиях¹⁵.

Английские аграрные бунты начала XIX в., как уже отмечалось, значительно различались по составу участников: в волнениях 1830 г. главную роль играли батраки южных графств, разрушавшие машины и поджигавшие стога у помещиков и фермеров, а в «бунтах Ревекки» 1840 г. в Уэльсе — мелкие арендаторы, подготавливавшие и осуществлявшие спой ночные вылазки. Все массовые движения прошлого, приобретавшие широкие масштабы, отмечены подобной разнородностью участников в различных районах страны. Пестрый состав участников бросается в глаза при анализе, например, французской «хлебной войны» 1775 г., когда борьба за общие интересы рядовым потребителям города и деревни объединила не только виноделов, мелких собственников-крестьян, сельских ремесленников в деревнях и торговых поселках, но и городских чернорабочих и грузчиков. Не менее показателен, хотя и не столь очевиден, разношерстный состав участников чисто аграрных движений, например выступлений английских батраков 1830 г. Большинство из них были батраками в полном смысле слова: пахарями, жнецами, косцами, доильщиками, конюхами, пастухами и др.; но немало было и сельских ремесленников: плотников, столяров, каменщиков, сапожников, жестянщиков, портных, ткачей, бумажников. Бунтовщики из разных графств, высланные в Австралию, также значительно различались по составу; в целом, однако, каждый третий из высланных в Новый Южный Уэльс и каждый четвертый или пятый из высланных на Тасманию принадлежали к одной из перечисленных выше категорий.

Иногда неоднородность социального состава участников массовых выступлений принимала иные формы: состав участников бунта расширялся за счет притока представителей иных социальных групп, направлявших движение в другое русло. Так, например, начало Гордоновым бунтам положил поход лорда Джорджа Гордона и его сторонников из числа «ремесленников первого разбора» к Вестминстеру для подачи петиции Протестантской ассоциации. Но вскоре представители «низшего сословия» — мелкие торговцы, наемные работники, подмастерья, прислуга — оттеснили их на задний план. Перейдя от слов к делу, они начали поджигать дома католиков, их школы и церкви. Спустя несколько дней к ним присоединились освобожденные ими из Ньюгейта заключенные и другие «нежелательные» элементы; в результате бунт на заключительном этапе превратился в оргию насилия. Уместно напомнить в этой связи и о том, как изменился характер «бунтов Ревекки», когда летом 1843 г. события вышли из-под контроля мелких арендаторов и руководство движением взяли на себя безработные Гламоргана и бунтовщики-«профессионалы», как, например, Дайр Кантер и Шошт Шгубор Фавр. С этого момента основным содержанием движения, вступившего в «фанатическую» стадию, стала борьба батраков против фермеров. В обоих случаях вступление в борьбу новых участников привело к отходу от движения его инициаторов из более «респектабельных» слоев общества: в первом случае — жителей Сити, которые перешли на сторону правительства, увидев, что понести ущерб могут не только католики, но и они сами; во втором — фермеров, напуганных растущей активностью батраков.

Аналогичный процесс в более широких масштабах происходил и во время событий 1848 г. в Париже. 23 февраля рабочие предместьев поднялись на борьбу, в результате чего политическая демонстрация против правительства переросла в восстание, приведшее к свержению монархии. Развитие событий в период с февраля по июнь во многом объяснялось стремлением «респектабельных» революционеров избавиться от своих неудобных союзников из «низшего сословия». Подобный процесс мог иной раз развиваться и в противоположном направлении, когда бунтовщики из высших социальных слоев брали на себя

руководство движением, инициаторами которого были рабочие или беднота. Нечто подобное произошло в Париже в октябре 1789 г. и в сентябре 1793 г. В первом случае голодные бунты, начатые рыночными торговками, переросли в политическую демонстрацию под радикальными лозунгами с появлением на сцене «добровольцев Бастилии» под руководством Станисласа Майара и батальонов национальной гвардии. Во втором — Эберу и лидерам городской коммуны удалось превратить выступление санкюлотских низов, требовавших установления всеобщего максимума цен на продовольствие, в грандиозную демонстрацию представителей всех парижских секций, предъявивших Национальному конвенту политические требования. Массовая рабочая сходка, организованная руководителями клубов в апреле 1848 г., осталась без последствий — ее затмила контрдемонстрация мелкобуржуазной по своему составу национальной гвардии в поддержку Ламартина и Временного правительства.

Это, разумеется, не исчерпывает различий, присущих «толпе» «доиндустриальной» эпохи. Не менее важное значение имеют и такие данные, как возраст, грамотность, вероисповедание, распределение по географическим районам и профессиональным группам. Приведу несколько примеров. Можно с достаточной уверенностью утверждать, что во время антипапистских выступлений в Лондоне уничтожение имущества католиков и других граждан было по большей части делом рук юношей и подростков. Это отмечали и наблюдатели того времени, например Гораций Уолпол, и более поздние летописцы своей эпохи, такие, как Чарлз Диккенс; подобные факты зафиксированы и в соответствующих судебных протоколах. Уолпол особо выделяет при этом роль подмастерьев: в самом деле, процент подмастерьев, поденщиков и молодых рабочих среди 160 бунтовщиков, представших перед судом, подтверждает его выводы. Архивы Олд-Бейли не содержат исчерпывающих данных относительно возраста арестованных. Примечательно, однако, что свидетели часто называли обвиняемых «молодыми парнями», «ребятами» и даже «детьми», а определяя их возраст, давали им по 15, 16, 18 лет, в одном случае даже «меньше 14». Среди 25 человек, приговоренных к повешению, был только один 15-летний подросток (а не несколько, как полагал Уолпол). Отличительной чертой участников всех подобных беспорядков была их относительная молодость. Средний возраст луддитов, высланных в Австралию за период с 1812 по 1817 г., составлял 30,7 года; 75 чартистов, высланных в 1842 г., — 26,5; 16 ссыльных 1848 г. — 31 год. Разрушители машин и поджигатели, высланные в Австралию в 1830 г., хотя и были еще моложе, но не столь молоды, как утверждает Робсон, определивший средний возраст всех высланных. Средний возраст нескольких сотен бунтовщиков, высланных на Тасманию, составлял 29 лет, а высланных в Новый Южный Уэльс — 27 лет, причем больше половины были семейными людьми****¹⁶. Этот показатель имеет определенное значение, ибо позволяет предположить, что коли уж оседлые семейные люди отваживались на подобные действия, то либо в результате невыносимых условий жизни, либо по глубокому убеждению. Равным образом показателен и возраст арестованных и раненных в годы Французской революции, а также ее непосредственных участников. Средний возраст 662 участников штурма Бастилии составлял 34 года; убитых или раненных при штурме Тюильри в 1792 г. — 38 лет; арестованных после майского восстания 1795 г. — 36 лет. Участники этих основных событий революции были, следовательно, значительно старше арестованных участников французских зерновых бунтов 1775 г. (средний возраст 30 лет), так называемых парламентские беспорядков (23 года), Ревейоновых бунтов в канун революции (29 лет) и событий на Марсовом поле в 1791 г. (31 год). Процент грамотных (если считать таковыми людей, способных подписать протоколы полицейских судов) также был неодинаков в различных выступлениях: грамотные составляли 33% среди участников зерновых бунтов 1775г., 62 — среди участников Ревейоновых бунтов и 80 и 85 % — соответственно среди участников выступлений июля 1791 г. и мая 1795 г.***** Можно предположить, что уровень сознательности участников массовых движений зависел от характера этих движений. К сожалению, имеющиеся в нашем распоряжении данные настолько отрывочны и неточны, что позволяют сделать лишь гипотетические выводы.

Равным образом знаменательна склонность рабочих определенных профессий к большому радикализму и к тому, чтобы чаще других выступать зачинщиками бунтов, одним словом, они отличались большей революционностью. Выше уже отмечалась активность рабочих оловянных рудников Корнуэлла, ткачей и чесальщиков шерсти западных графств, ткачей шелкоткацких мануфактур Спайтлфилза и английских шахтеров в целом, принимавших участие как в продовольственных бунтах, так и в ожесточенных конфликтах с хозяевами. Различные авторы уже отмечали бунтарские настроения французских рыбаков, шведских лесорубов, австралийских стригалой и венских сапожников¹⁷. В ходе своих исследований я сделал вывод, что среди парижских ремесленников самыми активными участниками революционных события 1789—1795 гг. были слесари, столяры, столяры-краснодеревщики, сапожники, портные, каменщики, а среди менее квалифицированных — виноторговцы, водоносы, грузчики, повара, домашняя прислуга. Примечательно, что представители большинства вышеназванных профессий упоминаются почти полвека спустя среди тысяч арестованных и осужденных за участие в «июньских днях» 1848 г.¹⁸ Это неудивительно: французские рыбаки, например, на протяжении долгой истории своего существования более других подвергались опасности лишиться работы; неудивительно также, что в исторический период, к которому относится данное исследование, ремесленники протестовали более активно, чем фабричные рабочие или надомники; причем самыми боевыми были выступления ремесленников наиболее распространенных профессий: столяров, портных, сапожников. Можно предположить, что анализ состава масс в другой исторический период, например в период развитого индустриального общества 60—80-х гг. XIX в., привел бы к совершенно иным выводам.

В связи с этим возникает вопрос: в какой степени «толпа» отражала интересы тех общественных прослоек, к которым принадлежали составлявшие ее элементы? Сам факт участия определенного числа слесарей или граверов в штурме Бастилии (в данном случае в официальных источниках это число приводится) вовсе не означает, что они пользовались поддержкой и симпатиями всех парижских слесарей и граверов. Соответствующее предположение Мишле является явным преувеличением, хотя в данном случае подобный оптимизм более оправдан, чем в других. Гораздо чаще историки склонны рассматривать мятежную или революционно настроенную толпу как воинственное меньшинство, резко отличавшееся от основной массы сограждан, представителей тех же общественных классов или тех же профессий, которые хотя и не проявляли откровенно враждебного отношения к происходившему, но и не играли активной роли в событиях. Таким образом, обычно принято проводить разграничение между воинственными элементами или активистами и пассивным большинством. Оправдан ли подобный вывод? Ответить на этот сложный вопрос на основании статистических данных труднее, чем на прочие вопросы, поставленные в этой главе. Демоскопические данные в какой-то мере убедительны лишь в том случае, если основываются на опросах типа тех, что проводятся институтом Гэллапа среди широких слоев населения; подобный метод историку, к сожалению, недоступен.

Но и не располагая такими возможностями, можно допустить, что это различие между борющимися и «пассивными» не следует абсолютизировать. Оно обосновано прежде всего в тех случаях, когда речь идет о небольшом числе «активистов», игравших заметную роль и в движениях, на первый взгляд совершенно стихийных. Об этом можно говорить и тогда, когда «толпа» состоит по большей части из людей убежденных, решительных, стремящихся к единству действий, достаточно резко отличающихся от остальных, более пассивных сограждан своей сознательностью и политической зрелостью. Так оно, судя по всему, и было в таких носивших квазивоенный характер эпизодах Французской революции, как штурм Тюпльри в августе 1792 г. Однако подобное могло иметь место лишь после того, как революция выдвинула политическую элиту из среды самих санкюлотов, прошедших политическую школу в революционных клубах, на собраниях секций, в частях национальной гвардии, вобравших опыт массовых выступлений начального этапа революции. В предреволюционные годы такой процесс был немыслим и во Франции, а в Англии, где бунты никогда не перерастали в революцию, он вообще стал возможным лишь гораздо позже. Что же касается других выступлений, в частности забастовок и голодных бунтов, то здесь не представляется возможным провести четкую границу между активными

участниками и пассивными наблюдателями, между теми, кто выходил на улицы, и теми, кто оставался дома. Вопрос осложняется и тем обстоятельством, что во время волнений и случайные свидетели, и «попутчики» могли погибнуть в стычках либо, проявив под влиянием момента неприсущий им энтузиазм, сойти при аресте за «вожаков»; в протоколах французской полиции есть немало тому примеров.

В этой связи возникает еще один вопрос: насколько активное меньшинство участников пользовалось симпатией пассивного большинства? На этот вопрос также можно ответить лишь в общей форме. Иногда «низы» (употребляя этот термин в самом широком смысле) могли повести за собой большинство или по крайней мере нейтрализовать его, лишь прибегнув к террору, разрушениям и насилию или демонстрируя явное превосходство в силах. Не вызывает сомнений, что именно таким образом вооруженные отряды революционеров, сформированные в Париже и других городах, навязали свою волю сельскому населению Франции осенью 1793 г. Бездействие лондонских констеблей и членов магистратов во время «антипапистских» бунтов 1780 г. также объяснялось страхом перед возможными последствиями. Иначе развивались события во время Ревейоновых бунтов в Париже в апреле 1789 г.: но в этом случае местные жители и много времени спустя после подавления беспорядков ясно показали, на чьей стороне были их симпатии, отказавшись выдать бунтовщиков властям. Как уже отмечалось, подобными примерами богаты выступления разрушителей машин в центральных и северных графствах Англии и «бунты Ревекки» в Западном Уэльсе. Совершенно очевидно, что в этих случаях активное меньшинство с пассивным большинством связывали взаимные симпатии и общие интересы. Последующий анализ причин возникновения массовых движений, их успеха или поражения позволит осветить эту проблему более полно.

* Заслуживает внимания в этой связи следующее замечание Дарваля относительно луддитов: «Истинные луддиты никогда не отступали от своей тактики разрушения машин и (на севере) захвата оружия. Не следует обвинять их в обычных грабежах, совершенных совсем иными людьми — шайками воров, которые прикрывались именем луддитов, рассчитывая, что тогда они не встретят сопротивления и избавятся от преследования» (Darvall F.O. *Popular Disturbances and Public Order in Regency England* (London 1931, p. 184).

** Государственный архив Тасмании, 2/44, 2/60, 2/67, 2/79, 2/83, 2/88: один из 30, тот самый, которого судили ранее за изнасилование, на сей раз был сослан за «кражу со в мастерской».

*** Следует отметить, что даже самые благонамеренные из неимущих не порицали такие преступления, как браконьерство, поджог, кража дров, нападение на лесничего, уход от хозяина, пользующегося плохой репутацией среди рабочих (упомянутые бунтовщики с повторной судимостью в первый раз чаще всего привлекались к ответственности именно за это).

**** По данным Робсона, средний возраст всех заключенных мужчин, высланных в две австралийские колонии в период между 1787 и 1852 гг., составлял 25,9 года; из них немногим более 25% были женаты (op.cit. p.25—26).

***** «The Crowd in the French Revolution», p.249 (Appendix V). Среди участников бунта «Свинга» 1830 г. процент умеющих читать или читать и писать (по документации арестантских морских перевозок) колебался между 66 и 75%; нельзя, однако, с уверенностью утверждать, что способы определения грамотности были одинаковы в каждом отдельном случае.

Ссылки на источники

- 1 Soboul A. «Les sans-culottes parisiens en l'an II» (Paris, 1958),
- 2 Briggs A. «The Language of 'Class' in Early Nineteenth-Century England», в *Essays in Labour History in Memory of G.D.H. Cole* под редак. A.Briggs и J.Saville (London, 1960), p.43—73.
- 3 Le Bon G. «The Crowd: A Study of the Popular Mind» (London 1909), p.36i ff.; «La Revolution francaise et la psychologie des revolutions» (Paris, 1912), p.53-61, 89-93.
- 4 George M.D. «London Life in the Eighteenth Century» (London. 1951). p.118-119; Marshall Dorothy. «Eighteenth-Century England» (London, 1952), p. 36—37.
- 5 Chevalier L. «Classes laborieuses et classes dangereuses» (Paris, 1958).
- 6 Rude G. «The Gordon Riots: A Study of the Rioters and thenm Victims», Transactions of the Royal Historical Society, 5th series, VI (1953). 104—105.
- 7 Rude G. «La taxation populaire de mai 1775 a Paris et dans la region parisienne», *Ann hist. de la Rev.franc.*, N 143, April—June 1956 p.139—179; и «La taxation populaire de mai 1775 en Picardie, en Normandie, et dans le Beauvaisis», Ibid., N 165, July—Sept. 1961, p. 305-326.
- 8 См. мою работу «The Crowd in the French Revolution» (Oxford. 1959), p.186-190, 249.
- 9 *Gentleman's Magazine*, XXXVII, 48 (February 26, №67) (курсив в оригинале).
- 10 Tasmanian State Archives, 2/132-2/178, 53/4328; *The Names and Descriptions of All Male and Female Convicts Arrived in the Colony of New South Wales during the Years 18.30 to 1842* (11 volh. Сидней, 1843), 11,43—52.

11 Robson L.L. The Origin and Character of the Convicts Transported to New South Wales and Van Diemen's Land 1787—1852 (неопубликованная докторская диссертация, Национальный университет Австралии, Канберра, 1963), p.28—29.

12 См. мою статью «“Captain Swing” and Van Diemens Land» in *Tasmania Historical Research Association: Papers and Proceedings*.

13 Chevalier L. Op.cit., p.551—553.

14 Rude G. «The Crowd in the French Revolution», p.15—18; «Wilkes and Liberty» (Oxford, 1962), p.16—18; «The London «Mob» of the Eighteenth Century», *The Historical Journal*, II, i (1959).

15 «The Crowd in the French Revolution», p.179—185.

16 Rude G. «Protest and Punishment» (Oxford, 1978), p.250—251.

17 Hobsbawm E.J. «Primitive Rebels» (Manchester, 1959), p.122 (цитата из работы Э.Вангермана); Runciman W.G. «Social Science and Political Theory» (Cambridge, 1963), p.95—96 (цитата из Зигфрида).

18 «The Crowd in the French Revolution», p.185, 234—235, 246—248 (приложение IV).

ХАРАКТЕР ВОЛНЕНИЙ И ПОВЕДЕНИЕ МАСС

До сих пор мы рассматривали составные элементы «толпы», а не «толпу» как целое. Были рассмотрены вопросы об общественных классах, группах и индивидах как компонентах «доиндустриальных» низов, об их профессиональном составе, об идейном содержании и побудительных мотивах их выступлений; однако мы почти не затрагивали вопросы, связанные с коллективной природой «толпы», определяющей ее реакцию и поведение как целого, то есть то, что Ле Бон и Жорж Лефевр именовали «коллективной психологией» или «ментальным единством»¹. Правда, некоторые авторы, в том числе и сам Ле Бон, придавали этим факторам абсолютное значение, оставляя в тени все другие, в результате чего они рассматривали «толпу» в отрыве от конкретных социально-исторических условий, как чистую абстракцию, так сказать, изначальное множество. Полностью игнорировать подобную точку зрения было бы, конечно, неправильно, ибо рассматривать толпу людей лишь как совокупность составляющих ее элементов допустимо только в том случае, если она предельно упорядочена и формализована, как, например, при разного рода церемониях².

Но все это еще не дает ответа на ряд вопросов, касающихся действий и поведения «толпы». Какова была модель поведения «доиндустриальных» низов и почему одни модели были более типичны для них, чем другие? Каким образом происходило слияние отдельных индивидов или групп в «толпу» и перерастание одной формы волнений в другую? Как развивалась «коллективная психология» масс — их склонность к насилию, их готовность идти на риск, способность на героизм? Были ли массовые выступления организованными или стихийными? Каково было отношение рядовой массы к вожакам и каким образом массы узнавали и подхватывали те или иные лозунги, по чьим приказам переходили они к действиям? Насколько справедливо утверждение вышеупомянутых историков, что массам всегда свойственны неустойчивость, стремление к насилию и разрушению, темные инстинкты? Вот некоторые из вопросов, которые предстоит рассмотреть или хотя бы затронуть в этой главе.

В предыдущих главах уже говорилось об общих чертах поведения низов. Разумеется, в разных ситуациях массы вели себя по-разному, но общими чертами их поведения всегда оставались «прямое действие» и стремление так или иначе восстановить «элементарную естественную справедливость». Забастовщики чаще всего разрушали машины и дома предпринимателей; участники голодных бунтов совершали налеты на рынки, хлебные лавки и устанавливали контроль над ценами снизу; бунтовщики в сельской местности сносили изгороди и заставы, ломали молотилки, разрушали работные дома, поджигали скирды у лендлордов и фермеров; бунтовщики в городах разрушали молитвенные дома и часовни диссентеров, их дома и имущество, символически сжигали изображения своих политических противников. Во время крупных революционных выступлений, например во Франции в 1789—1795 гг., 1830 и 1848 гг. народные массы прибегали и к иным, нередко героическим формам борьбы. Достаточно вспомнить о штурме Бастилии, Тюильри, ратуши или парижские баррикады. Однако в целом характер поведения масс существенно не менялся. Иногда происходили примечательные отклонения от нормы, свидетельствовавшие о том, что в ходе бунтов и волнений «доиндустриального» периода зарождались формы борьбы, характерные для более позднего времени.

Например, в Манчестере в 1810 г. состоялась забастовка хлопкопрядильщиков, во многом напоминавшая современные; во Франции трудовые конфликты, близкие по форме современным, возникали еще чаще, чем в Англии. Распространенной формой активности масс стала подача петиций; в этой связи следует упомянуть выступления лондонских рабочих в 60-е годы XVIII в. В Париже в июле 1791 г. такая петиция, мало чем отличавшаяся от подобных документов в наши дни, послужила поводом для грандиозной демонстрации на Марсовом поле, которая закончилась массовым расстрелом ее участников.

Известны и другие, более традиционные формы действий низов, при которых главную роль играло не насилие, а мирные демонстрации: массовые шествия и красочные церемонии, почти столь же типичные для того времени, как и попытки восстановить «естественную справедливость». Во время предвыборной кампании Уилкса в Лондоне его сторонники из «средних» и «низших» слоев населения зачастую проходили по улицам города под барабанный бон, со знаменами, эмблемами и пестрыми значками своего кумира, скандируя лозунги. Как-то раз в те дни «большая группа фригольдеров из Мидлсекса с оркестром прошла с флагами по Пэлл-Мэлл. Остановившись перед Сент-Джеймским дворцом, демонстранты трижды прокричали «ура», и грянула музыка». Спустя неделю жители маленького городка Сомертона в графстве Сомерсет отпраздновали победу Уилкса на выборах над полковником Латреллом колокольным звоном, фейерверками и торжественным шествием, во главе которого шли «2 учителя местной классической школы в одеянии Свободы» и «45 учеников с голубыми бантами»³. Такие же торжественные и хорошо организованные шествия были не редкостью в Париже в канун революции 1789 г. и после ее начала. Три года спустя подобная демонстрация с флагами и знаменами была беспощадно разогнана йоменри* на поле св.Петра в Манчестере; колоритные массовые демонстрации, несмотря на свой мирный характер, внушали властям и имущим классам почти такой же страх, как и акты насилия. Гарди, парижский книготорговец, описавший процессии ремесленников, рабочих и работниц, проходивших в августе—сентябре 1789 г. чуть ли не ежедневно по улице Сан-Жак к вновь отстроенной церкви св.Женевьевы, заметил как-то, что «многих пугает организованность, состав и размах этих шествий». Не исключено, что причиной жестокой расправы йоменри с манчестерскими ткачами «при Питерлоо» в такой же мере послужили как воинственные лозунги на знаменах демонстрантов, так и их организованность⁴.

Определенные основания для подобных опасений у властей, безусловно, были: церемониальные процессии такого рода нередко перерастали в выступления насильственного характера в результате неожиданного развития событий или какой-либо провокации. Это было тем более вероятно в период, когда «низшие сословия» — санкюлоты — практически были полностью лишены возможности отстаивать свои интересы мирными средствами. Они не только не имели никаких политических прав, но и «союзы» и «ассоциации» (то, что французы именовали *attroupments*) были запрещены законом и беспощадно подавлялись. В итоге участники мирных выступлений карались столь же сурово, как и участники «враждебных вспышек». Кроме того, рабочие по опыту знали, что внезапное боевое выступление скорее приведет их к успеху, нежели длительная борьба мирными средствами, будь то переговоры, подача петиций или церемониальные шествия, которые в любом случае немного стоили за пределами больших городов, подобных Парижу, Лондону, Лиону и Манчестеру. Более того, в тот период открытые конфликты между правящими, имущими классами и «низшим сословием» и возникали чаще всего в сельской местности. Именно здесь происходили ограживания, фабрики и шахты оснащались новыми машинами, а резкие повышения цен на зерно чувствовались особенно остро. Таким образом, особенности исторического периода не только постоянно побуждали низы к массовым выступлениям, но также обуславливали и форму движения. Трудно представить более подходящую форму выражения народного протеста в сельских районах, шахтерских и небольших торговых поселках и даже на окраинах развивающихся фабричных городов, нежели активные попытки путем «прямого действия» восстановить «естественную справедливость», практиковавшиеся Недом Луддом в Дербишире и Чeshire, «Ревеккой» в Западном Уэльсе, участниками бунтов «Свинга» на юге Англии и хлебных бунтов во Франции и Англии в 1766 и 1775 гг.

Однако если бы характер волнений такого рода зависел только от материальных факторов, они не стали бы распространенной формой народного протеста в Париже и Лондоне на протяжении всего XVIII в., а в Бристоле и Ноттингеме вплоть до 1831 г. Определенную роль сыграла приверженность традиционным идеалам и ценностям. В XIX в. распространение радикально-политических идей вовлекло мелких торговцев, ремесленников и фабричных рабочих в борьбу за политические права, за великие идеалы равенства и братства. Подобные лозунги появились во Франции в разгар и на заключительном этапе Французской революции, когда вера масс в отдельных героев постепенно уступила место вере в революционные идеалы и институты; европейские революции и чартистское движение в Англии в 40-х гг. XIX в. подняли этот процесс на более высокую ступень и подвели под него прочный фундамент. В целом, однако, народные массы того времени связывали свои надежды не столько с новыми идеями и институтами, сколько с отдельными героями, точно так же как те или иные конкретные лица были для них воплощением зла. У масс были свои герои — Уилкс, Джордж Гордон, Марат, легендарная «Ревекка», а конкретные предприниматели, коммерсанты, скупщики, булочники, землевладельцы, чиновники были в их глаза к олицетворением всех бед. Естественно, что при снижении заработной платы, повышении цен, неурожаям, нарушениях: традиционных прав народ обращал свой гнев в первую очередь против них. И лишь постепенно борьба против отдельных личностей сменялась борьбой за принципы и идеалы, и массы не прибегали больше к старым методам восстановления «естественной справедливости».

Однако народная память и легенды могли играть определенную роль в продлении пережиточной фазы движения пародов за пределами того времени, когда они были наиболее эффективными и действенными. К 1831 г. в Бристоле и к 1842 г. в Сток-он-Тренте, например, разрушение домов было уже анахронизмом: в больших городах, таких, как Париж и Лондон, оно к тому времени не происходило уже в течение многих лет. Баррикадные бои — тактика народной войны, пригодная для Парижа в 1830 и 1848 гг., во многом сохранившего облик средневекового города, — велись на парижских улицах и в 1871 г., после перестройки города при Наполеоне III. Память о событиях 1789 и 1793 гг. во многом определяла сознание масс, поднявшихся на революционную борьбу в 1848 г. Французские крестьяне, которые в 1775 и 1789 гг. устанавливали собственные цены на продовольствие и сжигали помещичьи усадьбы, сохраняя веру в короля, унаследовали традиции своих предков, за 100 лет до этого поднявших в Бордо восстание под лозунгом «За короля и долой соляные подати!». Поход женщин к Версалию явился в определенном смысле повторением подобных демонстраций парижан в 1709, 1775 и 1786 гг., хотя и неизмеримо более значительным по своим последствиям.

В Англии поджоги, особенно поджоги фермерских скирд и стогов, являлись испытанным методом борьбы участников аграрных волнений. «Огонь — вот самый действенный аргумент», — писал Карлейль, который, подобно Гиббону Уэйкфилду, мог на собственном опыте оцепить его действенность. Многие считали этот метод английским изобретением. В 1854 г., когда поджоги уже не были основным средством борьбы в сельских районах, некий итальянец, отличившийся во время обороны восставшими австралийскими колонистами форта «Эврика», писал о столь хорошо известных диких выкриках англичан «Жги, жги!»: «Англичан хлебом не корми, только дай им что-нибудь поджечь. Они обожают пожары, это для них — лучшая забава»^{5**}. Выше уже отмечалось, что разрушение машин, домов и контроль над ценами «снизу» во время голодных бунтов оставались формами народного протеста на протяжении полутора или более веков. Так, например, во Франции в 1789 г. аграрные волнения развивались в этих старых традиционных формах. Таким образом, не только социально-экономические условия на соответствующем этапе общественного развития, но и коллективная память народа и его традиции определяют, насколько живучими оказываются те или иные формы народного протеста.

И все же, несмотря на то, что бунты имели тенденцию принимать традиционные формы, даже самые кратковременные из них не проходили шаблонно. Небольшие локальные забастовки или голодные бунты, начавшись с незначительного инцидента, постепенно набирали силу, проходя в своем развитии три этапа: начало, кульминацию, завершение. Исключение представляли высокоорганизованные выступления, носившие характер боевых

операций, такие, как штурм Тюильри в августе 1792 г. или демонстрации рабочих, организованные парижскими клубами в 1848 г. Однако подобные выступления, в которых действия участников от начала и до конца регламентировались приказами общепризнанных руководителей, не были в тот период типичными формами народных движений. Более характерны для того времени волнения и бунты, вспыхивавшие из-за какого-нибудь незначительного инцидента на базаре, в харчевне или в булочной, мясной лавке или винном погребе, либо, наконец, из-за неосторожно сказанного слова или какой-либо провокации. Они приобретали иной раз непредвиденные и неожиданные для всех, даже для самых опытных вожаков, накал и размах. Как в канун Французской революции, так и после ее окончания во Франции и в Англии небольшие сборища покупателей в продовольственных лавках и на рынках нередко перерастали в массовые демонстрации, уничтожение чужой собственности, а то и в настоящие восстания и мятежи. Так, во Франции в конце апреля 1775 г. грузчики маленького городка Бомона, отказавшись платить высокие цены, установленные местными торговцами, положили начало движению, которое спустя две недели охватило столицу и шесть соседних провинций. В Лондоне в июне 1780 г. после отклонения парламентом антикатолической петиции, поданной протестантской ассоциацией, разъяренная толпа, собравшаяся у Вестминстера, подняла бунт, продолжавшийся на улицах Лондона в течение недели. В 1830 г., как мы видели, начало движению разрушителей машин и поджигателей, охватившему более двенадцати графств, дали новые молотилки, приобретенные землевладельцами одной кентской деревни; сходные незначительные инциденты вызвали выступления луддитов и «бунты Ревекки».

Множество подобных примеров дает история Французской революции, особенно ее начальные этапы — до того как в результате создания национальной гвардии, Народных клубов и ассамблей секций возникли условия, в которых противоборство масс с властями приняло более организованный характер. Классическим примером описанной выше модели развития массовых волнений являются крупные парижские восстания в июле и октябре 1789 г. В первом случае более или менее мирная толпа — граждане, прогуливавшиеся в воскресный день в саду Пале-Рояль, узнав об отставке Неккера и распаленная платными агитаторами герцога Орлеанского и людьми из его свиты, призывавшими ее к оружию, была охвачена революционным порывом. Дальнейшие события приняли такой размах, на который, надо полагать, не рассчитывали и которого не предвидели даже самые дальновидные, проницательные и решительные противники королевской власти. Уличные демонстрации с бюстами Неккера и герцога Орлеанского; нападения на таможни и разграбление монастыря Сен-Лазар; захват оружия в оружейных магазинах, арсеналах и монастырях; массовая демонстрация у ратуши, где в тот момент обсуждался состав нового муниципалитета; штурм Дома инвалидов и захват хранившегося там оружия, которое тут же было роздано отрядам вновь созданного народного ополчения, и, наконец, как завершение первого этапа революции — штурм Бастилии, который в какой-то мере был подготовлен, но в гораздо большей степени явился результатом случайного стечения обстоятельств.

В октябре события развивались примерно по той же схеме, хотя на заключительном этапе бунт приобрел сознательно политическое направление. Надо полагать, что большинству женщин-домохозяек и рыночных торговек, участвовавших в «хлебном походе» ранним утром 5 октября, как, впрочем, и сторонним наблюдателям, демонстрация вначале представлялась лишь повторением выступлений, происходивших в сентябре. Даже захват ратуши был лишь повторением в более широких масштабах акций протеста в предыдущие недели. Но когда в дело вмешались батальоны волонтеров Бастилии Станисласа Майара, женщины, среди которых «патриоты» вели агитацию уже несколько недель, двинулись на Версаль. Это придало демонстрации совершенно новое, политическое звучание. С этой точки зрения демонстрация, участники которой преследовали главным образом экономические цели, в итоге вылилась в политическое выступление, организованное «патриотами» и поддержанное частями национальной гвардии⁶.

Все эти примеры свидетельствуют о том, что даже в периоды революционного подъема, когда шла борьба между различными политическими группировками за влияние в массах, волнения редко происходили по какой-либо

заданной схеме. Исключение составляли лишь выступления военного характера, более организованные в силу самой своей природы, и церемониальные шествия. Во всех других случаях немалую роль играл элемент случайности; это лишает смысла утверждения современников и историков более позднего времени, полагавшие, что все подобные движения являлись результатом тщательно подготовленных «заговоров». Следовательно, рассматривая вопросы о начале, развитии и апогее массовых выступлений, необходимо не упускать из виду элемент случайности.

Но с другой стороны, не следует и переоценивать роль случайности: развитие событий во время обоих парижских восстаний 1789 г. было, как отмечалось, непредсказуемым, но сами события были отнюдь не случайны. И в июле, и в октябре интриги королевского двора в Версале послужили своего рода детонатором волнений в столице. Но сами по себе, вне связи с целым рядом предшествовавших событий и, самое главное, без назревшей уже в стране революционной ситуации они вряд ли бы к этому привели. Таким образом, господствовавшие в то время политические идеи и общие настроения явились тем необходимым компонентом, без которого действия двора не вызвали бы никакой реакции вообще и у народных масс в частности. Далее, импульсом для нападений крестьян на феодальные замки летом 1789 г. явились слухи о приближении парижских «бандитов», вызванные в свою очередь некоторыми обстоятельствами, связанными со штурмом Бастилии. Такая последовательность событий, сама по себе случайная и непредсказуемая, едва ли имела бы место, если бы не вековая ненависть крестьян к своим манориальным обязанностям и их надежды на улучшение своего положения, связанные с созывом в Версале Генеральных штатов.

Столь же примечательна, хотя на первый взгляд и не слишком правдоподобна, причинно-следственная связь между эпидемией холеры в Париже в 1832 г. и вооруженным восстанием рабочих в июне того же года. Холера унесла 39 тыс. жизней — главным образом обитателей густонаселенных районов города и кварталов, прилегающих к центральному рынку и ратуше. Повсюду ходили слухи, что правительство и буржуазия намеренно отравили колодцы и заразили заключенных в тюрьмах 91 пациентов в больницах; историки объяснили восстание паникой, охватившей тогда жителей Парижа, и их ненавистью к угнетателям⁷. Но если принять это объяснение, следует провести четкую грань между внешним импульсом и глубинными причинами: эпидемия холеры, ужасная сама по себе, вряд ли дала бы толчок июньским событиям, если бы не экономический кризис, нищета, деградация общества, ненависть и несбывшиеся надежды — наследие революции 1830 г.

Точно так же и совершенно стихийные на первый взгляд беспорядки характеризовались определенным единством участников, обусловленным не только идеями или распространенным убеждением, но и конкретными лозунгами дня, авторитетом руководителей и, наконец, какой-то формой организации — от элементарной до более развитой. Выше уже отмечалось, как велика была роль лозунгов типа «За Уилкса и свободу!», «Долой папистов и деревянные башмаки!», «Да здравствует третье сословие!», «За демократическую и социальную республику!» в формировании общественного мнения, придании ему определенной направленности. Если носившиеся в воздухе общие настроения создавали атмосферу социального брожения, то упомянутые лозунги объединяли массы и направляли их энергию на достижение конкретных целей и решение конкретных задач. Возможно, дело обстоит не совсем так во время забастовок и голодных бунтов, когда цели борьбы были и без того достаточно ясны, прежде всего для тех, кого непосредственно затрагивало снижение заработной платы или повышение цен. Однако в любой политической демонстрации лозунги являлись действенным средством сплочения единомышленников и устрашения и деморализации противников. Той же цели служили кокарды и знамена. Так, успеху кампании Уилкса в Лондоне немало способствовало широкое распространение голубых значков его партии. (Характерно, что и участники более поздних антипапистских бунтов 1780 г. также выступали под голубым знаменем.) Известно, какую роль играли трехцветные и красные знамена в 1789 г. и красные флаги социалистических клубов в 1848 г. Подобные символы способствовали сплочению отдельных групп и людей, придерживавшихся весьма различных взглядов и убеждений, в борьбе за общее дело, помогали их объединению для достижения общих целей.

Безусловно, единство более наглядно проявлялось в тех случаях, когда активные участники движения входили в какую-либо единую организацию. Однако в период, когда еще не было ни массовых профсоюзов, ни политических партий или ассоциаций потребителей, подобные организации были чаще всего весьма примитивны. Исключение представляли лишь революционные формирования восставших, например отряды национальной гвардии, штурмовавшие Тюильри, или милиция санкюлотов, изгнавшая депутатов-жирондистов из Национального конвента в июне 1793 г. (несколько иначе дело обстояло при взятии Бастилии, когда далеко не все участники штурма были под ружьем). Далее, даже в XVIII в. участники трудовых конфликтов в некоторых случаях были организованы в профсоюзы. В предыдущих главах упоминалось о том, что во Франции того времени уже существовали профессиональные объединения бумажников, плотников и печатников, а в Лондоне — шляпочников, портных, ткачей; во время Французской революции «компаньонажи» или рабочие «ассоциации» сыграли определенную роль в забастовке плотников 1791 г. В аграрных забастовках и бунтах организующим элементом была деревенская коммуна. В Париже в 1793 г. народные общества и ассамблеи секций, созданные санкюлотами как политические организации, мало чем отличались от более поздних политических партий. Подобные организации были созданы мидлсекскими землевладельцами-фригольдерами во время Уилксовых бунтов и лондонскими ремесленниками — членами корреспондентского общества Харди. Однако во всех этих случаях организации существовали сравнительно недолго; лишь с 30-х гг. XIX в. начали появляться постоянные организации. Их возникновение, естественно, оказало влияние на формы и характер массовых выступлений. Голодные бунты прежних времен и стихийные волнения стали теперь исключением (например, беспорядки в гончарных городках в 1842 г.). Выше было сказано и о том, какую большую роль сыграли клубы и рабочие организации в событиях 1848 г. в Париже, а также профсоюзы и Национальная чартистская ассоциация в чартистском движении в Англии.

О определенную роль играли и руководители, возглавлявшие массы, спланировавшие их и направлявшие их активность в определенное русло. Но все же лидеры никогда не играли столь выдающуюся роль и не влияли на развитие событий в такой степени, как это изображали Тэн, Ле Бон и другие, рассматривавшие революцию как заговор. Ле Бон, к примеру, писал, что «живые существа, будь то животные или люди, сбиваясь в стаю, инстинктивно стремятся попасть под власть вожака»; что вожаки толпы — «это обычно болезненно нервные, легковозбудимые люди, с неустойчивой психикой, близкие к сумасшествию»⁸. Характеризовать так народных вожakov, вне зависимости от места и времени, — значит полностью игнорировать социальную специфику и рассматривать и руководителей, и массы как чистую абстракцию. Анализ массовых движений в различные исторические периоды показывает, что в выступлениях разного типа лидеры играли различную роль, что они отличались друг от друга по своему социальному происхождению и личным качествам, но прежде всего, что необходимо проводить четкую грань между лидерами, стоявшими над толпой, вожаками, вышедшими из низов, и, наконец, теми руководителями, которые были посредниками — действительными или мнимыми — между первыми и вторыми.

Первую группу руководителей следует назвать скорее «героями» толпы — с их именем она поднималась на бунты и восстания, на их лозунги (действительно ими выдвинутые или им приписываемые) откликалась, их речи, воззвания, идеи создавали идеологический фон массовых выступлений. Примером могут служить Четэм, Уилкс, лорд Джордж Гордон в Лондоне XVIII в.; Робеспьер, Дантон, Марат и Эбер — в период Французской революции; Ледрю-Роллэн, Луи Наполеон и Луи Блан — в революции 1848 г. в Париже; и никому поначалу не известные «Ревекка», «генерал» Лудд и даже (если он вообще был реальной фигурой) «капитан Свинг» — в бунтах, вспыхнувших в Англии после наполеоновских войн.

Эти руководители не обладали «деспотической властью», которую приписывал им Ле Бон. Некоторые из них и не стремились к лидерству, отрекались от него, а подчас и прямо отказывались от руководящей роли, которую им навязывали.

Характерным примером является поведение Мартина Лютера в период Крестьянской войны 1525 г., имя которого вдохновляло действия восставших крестьян. Однако он не только не одобрял их действий, но и клеймил их как «банды воров и убийц». Можно не без оснований предположить, что Людовик XVI поневоле сыграл роль такого же вожжа для участников аграрные волнений во Франции в 1775 и 1789 гг., во время которых крестьяне именем короля сводили счеты с феодалами, а городской люд таким же образом устанавливал свои цены на продовольствие. Правда, это крайние случаи. Более типичной фигурой в этом плане был лорд Джордж Гордон, чьи выступления и действия, в частности ожесточенные нападки на католиков, вне всякого сомнения, спровоцировали в Лондоне в 1780 г. бунты под лозунгом «Долой папизм!»; однако, он говорил чистейшую правду, утверждая, что никогда и не помышлял о тех последствиях, к которым это приведет. Подобные ситуации неоднократно возникали во время революций; в 1793 г. и Марат, и Робеспьер не раз осуждали действия масс, действовавших от их имени. Луи Блан, лидер социалистов, недвусмысленно отмежевался от восставших парижан в июне 1848 г. Уилкс неоднократно порицал своих слишком ретивых сторонников за злоупотребление его именем, и даже легендарная «Ревекка», державшая своих сторонников в руках более крепко, чем большинство других лидеров толпы «извне», отстранилась от движения, утратив контроль над событиями.

Вышесказанное не означает, однако, что лидеры-«герои» в движениях такого рода играли чисто случайную роль. Напротив, только их авторитет мог объединить массы и придать их действиям определенную направленность. Но руководить народным движением сверху, «извне» всегда рискованно; но впоследствии некоторого времени такие руководители нередко утрачивали контроль над движением или обнаруживали, что оно преследует цели, отличные от их собственных. Как уже отмечалось, парижские санкюлоты, признавая еще руководящую роль якобинцев и разделяя их идеологию, начали трактовать ее по-своему, что привело к последствиям, крайне нежелательным для ее творцов. Одной из причин столь двойственного отношения низов к подобным лидерам была различная социальная принадлежность руководителей и их сторонников. Джон Уилкс, например, был сыном зажиточного винодела; лорд Джордж Гордон — сыном герцога, шотландским аристократом; наиболее видные руководители Французской революции были почти все без исключения выходцами из дворян, врачами, журналистами, священниками или преуспевающими торговцами. Это приводило прежде всего к тому, что социально-политические устремления руководителей и рядовых участников движения полностью не совпадали. Другой причиной было то, что руководители (особенно при таких длительных массовых движениях, как Французская революция) иногда были вынуждены приспосабливаться к массам для поддержания своего авторитета. Именно этим, как уже неоднократно подчеркивалось, и объясняется, в частности, тот факт, что якобинцы под давлением снизу ввели контроль над ценами и распределение продовольствия. Таким образом, руководители, не полностью контролировавшие действия своих сторонников, иногда уступали их давлению и в некотором смысле менялись с ними ролями.

Связь между высшим руководством движения и низами редко была прямой. Выступления перед массовой аудиторией были скорее исключением, чем правилом. Бесспорно, лорд Джордж Гордон выступал перед протестантами на Сент-Джордж-Филдз, лидеры французской революции выступали на митингах на Марсовом поле, а руководители революции 1848 г. произносили речи перед собравшейся толпой с балкона ратуши. Но до 1848 г. во Франции и до начала чартистского движения в Англии это случалось все же сравнительно редко. Те или иные идеи гораздо чаще пропагандировались в прессе, парламенте, политических клубах, чем на городских площадях. Робеспьер выступал главным образом в Национальной ассамблее и Якобинском клубе; Уилкс писал свои воззвания и манифесты, будучи в заключении в тюрьме Королевской скамьи; Марат выступал со статьями в газете «Друг народа», а Нед Лудд издавал приказы в «штаб-квартире» в Шервудском лесу. Эти призывы и воззвания доходили до масс различными путями: через прессу и памфлеты, на массовых митингах, из разговоров в мастерских, тавернах, винных погребах, на базарах и в булочных. Во время крупных политических событий на сцене появлялись специальные эмиссары или руководители-посредники, которые выполняли роль связных между лидерами-«героями» и массами, распространяли их лозунги и указания, составляли в случае необходимости список намеченных жертв и передавали приказы о выступлении.

Подобные каналы связи не требуют особых пояснений, когда речь идет об организованных выступлениях, в которых (как, например, в Париже в 1792 и 1793 гг.) вооруженные отряды действовали по приказу своих непосредственных командиров. В других случаях, однако, ответить на вопрос о том, как они функционировали, гораздо трудней. Кто, например, сообщил лозунги, распространил идеи и передал знамена «протестантской ассоциации» ее менее респектабельным и более мятежным сторонникам на улицах Лондона? Кто отдал приказ напасть на дом Пристли в Бирмингеме? Иногда удается получить приблизительное представление об этом механизме связи: из дошедших до наших дней показаний многочисленных очевидцев известно, например, что приказ поджечь парижские таможни местные вожаки, такие, как бывший кузнец Дюамель, получили непосредственно из Пале-Рояля, штаб-квартиры герцога Орлеанского. Точно так же в октябрьские дни Станислас Майар руководил действиями масс в контакте с представительницами женщин, а Фурнье-американец вел агитационную работу среди жителей своего избирательного округа и рыночных торговек в Версале, убеждая их требовать возвращения короля в Париж⁹. В Англии в начале XIX в. сходную роль играли, видимо, местные предводители типа Неда Лудда, «капитана Свинга» или «Ревекки» в Уэльсе, а также другие местные вожаки, например чартисты Джои Фрост и Зсфалия Уильяме, возглавившие поход на Ньюпорт. В других случаях процесс возникновения массовых волнений установить не удастся. Можно, однако, предположить, что связь между руководителями, стоявшими наверху, и рядовыми участниками осуществлялась с помощью таких же вожаков-посредников.

Выше шла речь о руководителях, стоявших над массами и вне их. Каких же собственных лидеров выдвинули массы в ходе движений, подобных описанным выше, или во время забастовок и голодных бунтов, возникавших по инициативе самих масс? В ряде случаев — вообще никаких! После июльской революции 1789 г. на вопрос полицейских «кто приказал восставшим идти па Пале-Рояль и в другие районы столицы» участник события — грузчик — не колеблясь ответил: «У нас не было вожаков, мы все равны»¹⁰. Поверить в это, конечно, трудно, но все же в ходе некоторых массовых выступлений дело, видимо, именно так и обстояло. Как бы то ни было, а один из многих тысяч участников восстания охарактеризовал положение именно так. В подобных случаях полиция или ополченческие отряды, как правило, задерживали и подвергали перекрестному допросу не столько руководителей в общепринятом смысле этого слова, сколько тех, кто выделялся из общей массы своим энтузиазмом, мужеством и отвагой, предприимчивостью, тех, кто выкрикивал лозунги, совершал па виду у всех насильственные действия, или же тех, па кого доносили соседи. Например, некая работница из Йереса, арестованная как одна из зачинщиц голодных бунтов 1775 г., показала на допросе, что «у нее голова пошла кругом... она вошла в раж, как и все другие, и теперь не помнит, что говорила и делала». Должно быть, то же самое произошло и с Мари-Жанной Трюмо, которую тоже арестовали и приговорили к смертной казни за подстрекательские призывы к грабегам и поджогам во время Ревейоновых бунтов в апреле 1789 г. (а впоследствии помиловали). Пыльные досье парижской полиции хранят сведения и о других подобных вожаках — действительных или считавшихся таковыми. Среди них некая Лаваренн, неграмотная больничная сиделка, которая, по свидетельству Станисласа Майара, была руководительницей женщин — участниц похода на Версаль; Дюмон (по прозвищу Малыш), сыгравший видную роль в нападениях на парижские таможни в 1789 г.¹¹ Во время голодных бунтов во Франции в 1775 г. бунтовщиков, конфисковавших продовольствие, возглавляли иной раз весьма «респектабельные» граждане: фермеры, школьные учителя, местные чиновники и даже сельские священники.

В Англии бунтовщики приступали к «делу» — ломали молотилки, сносили изгороди и громили заставы, грабили и разрушали дома намеченных жертв — в строго определенное время по приказу своих признанных вожаков-«капитанов». Это были Том-цирюльник, вожак бунтовщиков в восточной части Лондона — участников айтиирландских выступлений на Гудмен-Филдз в 1736 г.; Уильям Пейтмен, колесный мастер, и Томас Таплин, каретник, возглавлявшие отряды бунтовщиков во время антипапистских беспорядков в Лондоне в 1780 г. Множество таких же вожаков было арестовано и во время других массовых волнений: при разрушении дома Пристли в Бирмингеме, поджоге стогов и приведении в негодность молотилок в южных графствах, уничтожении имущества граждан в Бристоле и в «гончарных городках» в 30—40-е гг. XIX в.

Отличительной особенностью такого рода вожakov было то, что они пользовались авторитетом у жителей лишь какого-то одного района и довольно непродолжительное время. Примечательно, что из нескольких сотен высланных позднее в Австралию участников беспорядков в Бристолe, в Поттериз, а также «бунтов Свинга», по-видимому, ни один не принимал впоследствии участия в других радикально-политических движениях.

Активность таких лидеров и их руководящая роль — действительная или приписываемая им — ограничивались рамками одного-единственного выступления и продолжения не имели.

Таким образом, различия между «активистами» и случайными участниками массовых волнений практически сводились к нулю. Правда, уже в XVIII в. бывали и исключения. Например, Джон Вэллин и Джон Дойл, повешенные в Лондоне в декабре 1769 г., отнюдь не были случайными участниками бунта, «халифами на час». Это были признанные руководители забастовщиков, члены забастовочных комитетов, не раз принимавшие участие в выступлениях ткачей. Однако примеры такого рода встречались лишь в чисто трудовых конфликтах того времени. Только начавшаяся Французская революция породила тип последовательного борца, принимавшего участие во многих политических выступлениях. Трое из арестованных на Марсовом поле в 1791 г. были участниками взятия Бастилии, четверо других спустя год были убиты или ранены во время штурма Тюильри; среди тысяч обезоруженных и арестованных участников народного восстания в мае 1795 г. было немало активных и опытных борцов, получивших закалку в клубах и в революционной армии¹².

Подобные случаи, до того времени являвшиеся исключением, участились в Англии и во Франции после 1830 г. Во Франции в 1832 г., как уже отмечалось, промышленные рабочие принимали участие в нескольких следовавших друг за другом экономических и политических выступлениях; можно отметить и высокую политическую сознательность Джорджа Лавлиса, лидера дорчестерских сельскохозяйственных рабочих, высланного за свою активную деятельность в 1834 г. и возобновившего ее три года спустя после возвращения из ссылки. Этот процесс углублялся по мере распространения радикальных и социалистических идей и роста рабочего движения. Одной из отличительных черт массовых выступлений в новом промышленном обществе было появление активных борцов и лидеров, вышедших из гущи народных масс. Это были не случайные и никому не известные люди, а признанные и опытные народные вожаки.

Остается рассмотреть, наконец, еще один комплекс вопросов, связанных с поведением низов. Насколько справедливо утверждение Ле Бона, что «толпе» (которую он отождествлял с народными массами) свойственны изменчивость, иррациональность, склонность к насилию и разрушению?¹³

Рассуждения об изменчивости или «подвижности» масс вообще превратились в шаблон, английское слово «толпа» («mob») происходит от латинского *mobilisvulgus*: неудивительно, что всякий раз, когда правящие классы оказывались не в состоянии удерживать в повиновении низы, они изображали «толпу» как многоликое чудовище, тупое и бессмысленное. Анализ поведения масс «доиндустриальной» эпохи в данной работе достаточно убедительно показывает, что подобные утверждения вообще не имеют ничего общего с действительностью в тех случаях, когда речь идет о более или менее высокоорганизованных или церемониальных выступлениях, во время которых люди выполняли прямые приказы руководителей или внимали их речам. Подобные выступления могли, конечно, принять и иную форму, если, например, возникала паника, как это и случилось в «Питерлоо», когда йомени разгоняли ткачей и их семьи, в организованном порядке вышедших на демонстрацию, или в Тюильри в 1792 г., когда в результате намеренной провокации народ перебил швейцарских гвардейцев, охранявших дворец. Далее, совсем в иных обстоятельствах (французские крестьяне в 1789 г. отказались от своих первоначальных планов обороняться от мифических бандитов и вместо этого безуспешно принялись громить феодалов, а мирная процессия «детей Ревекки» в Кармартене, к которой примкнула «городская чернь», закончилась разгромом местного работного дома).

Короче говоря, неожиданный поворот событий мог вызвать панику, поддавшись которой народ упускал из виду свои первоначальные цели; применительно к таким ситуациям утверждение о «переменчивости» толпы имеет под собой основания. В целом, однако, подобная «лабильность»

поведения не была типична для восставшего народа. Приведенные выше многочисленные примеры свидетельствуют как раз о противоположном: о твердых целеустановках народных масс, о целенаправленности их действий даже в тех случаях, когда они выглядели совершенно стихийными. Участники Гордоновых бунтов и бунтов под лозунгом «За церковь и короля!» в Бирмингеме уничтожали собственность лишь отдельных ненавистных им лиц, принимая все меры предосторожности, чтобы случайно не нанести ущерб их соседям. Разрушители машин в 1830 г., судя по всему, проводили четкую грань между «хорошими» и «плохими» фермерами; участники Ревейоновых бунтов в Париже грабили только продовольственные лавки. Нед Лудд и «Ревекка» неизменно проявляли крайнюю осмотрительность, намечая объекты для своих нападков; толпа, сжигавшая таможни в Париже, но тронула те, которые принадлежали герцогу Орлеанскому; во время сентябрьской «бойни» были казнены только лица, приговоренные к смерти импровизированными трибуналами. Стоит еще раз напомнить о шахтерах Кликхилла, которые, войдя в 1726 г. «в город (Ладлоу) в организованном порядке, — по свидетельству «Эннюзл реджистер», — окружили лишь один дом и, разрушив его, покинули город, не причинив более никому никакого ущерба»¹⁴. Анализ поведения масс «доиндустриального» периода позволяет предположить, что их бунты как раз были направлены на достижение конкретных целей. Уничтожение чужой собственности и физические расправы с непричастными были исключением.

Точно так же бунты, распространяясь, подобно эпидемии, за пределы того города или деревни, где они возникли, редко перекидывались на те районы, в которых непосредственного повода для такого рода бунтов не существовало. Достаточно вспомнить в этой связи Уилтшир, вошедший в 1830 г. в число южных графств, охваченных волнениями, а в 1839 г. ставший одним из центров чартистской агитации. Бунты 1830 г., во время которых батраки поджигали скирды у помещиков и фермеров, не распространились по традиционные центры волнений — текстильные города в западной части графства; напротив, при выступлениях в 1839 г., вызванных уже совсем иными причинами, чартисты — сторонники применения «физической силы» действовали наиболее активно именно в центрах текстильной промышленности, тогда как число сожженных скирд за все это десятилетие было минимальным¹⁵. Этот пример еще раз доказывает, что анализировать поведение масс и их руководителей надлежит лишь в неразрывной связи с социально-историческими условиями. Подобные примеры подтверждают, что поведение масс вообще нельзя считать «иррациональным» в обычном значении этого термина. Массы иной раз поддавались панике, питали иллюзии и несбыточные надежды, но цели, которые они перед собой ставили, были вполне реальны; более того, эти цели, как было показано выше, определяли и характер конкретных акций, и методы борьбы в соответствии с обстоятельствами.

Таким образом, изменчивость и иррациональность нельзя считать отличительными особенностями «доиндустриальных» низов. Бесспорно, массы прибегали и к насилию, в первую очередь к последовательному уничтожению материальных ценностей. Во время забастовок, бунтов и восстаний подобные акты насилия происходили столь часто, что их вряд ли можно считать случайным явлением или объяснить внезапной паникой. Более того, подобные акты насилия нередко заранее подготавливались «руководителями-героями», как, например, в «бунтах Ревекки» и луддитском движении в Англии; иногда массы, напротив, прибегали к насилию вопреки воле своих руководителей, как, например, во время Уилксовых бунтов и антипапистских беспорядков в Лондоне. Но чаще всего акты насилия происходили в тех случаях, когда массы действовали по собственной инициативе: при забастовках, во время голодных бунтов, Ревейоновых бунтов в Париже и (что особенно показательным) во время «бунтов Свинга» в 1830 г. в Англии. Как уже отмечалось, в некоторых случаях повлиять на ход событий и привести к разгулу насилия могли и совершенно непредвиденные факторы. Но даже и без учета этих факторов число разрушенных и поврежденных бунтовщиками того периода домов, церквей, изгородей, машин и мастерских было весьма значительным.

Таким образом, уничтожение имущества являлось главной формой активности в выступлениях «доиндустриальных» низов. Дело, однако, редко доходило до кровопролития, характерного для «жакерии», восстаний рабов, крестьянских войн и восстаний миллионеров прошлого или для расовых и

общинных беспорядков более позднего времени. Пресловутая «кроважность толпы» — выдумка, основанная на немногих, к тому же подтасованных фактах. Как же обстояло дело в действительности? Число погибших от рук участников крупнейших английских бунтов, происходивших в городах и сельской местности в период с 30-х гг. XVIII в. по 40-е годы XIX в., было на удивление незначительным. Никто не погиб во время беспорядков в Бристоле и Бирмингеме, Уилксовых антиирландских и антипапистских бунтов, бунтов «Свинга» и других аграрных волнений и даже во время вооруженного мятежа в Ньюпорте в 1839 г. Ни один фермер, мельник, член магистрата или лесничий не был убит во время голодных бунтов 1766 г.; в ходе эдинбургского восстания 1736 г., поводом к которому послужило «дело Портеуса», в период луддитского движения и бунтов «Ревекки» погибло всего по одному человеку. Во время трудовых конфликтов дело, по-видимому, чаще доходило до кровопролития: в 1768 г. в Шэдуэлле грузчики убили матроса, а в 1769 г. спантлфилдские ткачи — солдата. Это, однако, не идет ни в какое сравнение с числом бунтовщиков, убитых при подавлении беспорядков вооруженной силой или казненных по приговору судов. В 1780 г. были повешены 25 участников Гордоновых бунтов, в 1761 — по меньшей мере 12 участников голодных бунтов, в 1769 — 8 грузчиков угля и 2 или 3 ткача, в 1812—1813 гг. — не менее 37 луддитов, а в 1830 г. — 19 участников бунтов «Свинга». Еще большее число бунтовщиков было убито солдатами: в 1740 г. в Поридже солдаты застрелили 5 бунтовщиков; в 1753 г. в Уэст-Райдинге во время бунтов против застав убили 10 человек и ранили 24; в 1761 г. в Хэксэме убили или ранили более 100 шахтеров: в 1766 г. во время голодных бунтов было убито 8 человек в Киддерминстере, 8 — в Уорвике, 2 — во Фроме и 1 — в Строуде; в 1768 г. на Сент-Джордж-Филдз погибло 11 человек, причем не «бунтовщиков», а мирных демонстрантов; 285 участников Гордоновых бунтов были расстреляны на месте или умерли от ран; 8 человек были убиты во время луддитских беспорядков 1811—1812 гг. и 7 — в стычке в Боссенденском лесу; во время бунтов в Бристоле в 1793 г. было убито и ранено 110 человек; в 1839 г. в Ньюпорте погибло 24 человека, а за двадцать лет до этого ланкаширские йоменри убили 11 и ранили не менее 420 человек в столкновении при «Питерлоо»¹⁶.

Сельские бунты во Франции, так же как и в Англии, были направлены скорее против собственности, нежели против ее обладателей. Во время беспорядков 1775 г. бунтовщики не убили ни одного человека, лишь в 1789 г. продовольственные бунты сопровождались убийством нескольких лавочников и мельников. Чрезмерное кровопролитие не было характерно и для Французской революции, несмотря на ее насильственный характер. Участники «парламентских» беспорядков 1788 г. потеряли 8 человек убитыми и 14 ранеными, сами никого не убив. Во время Ревейоновых бунтов в апреле 1789 г. активность масс проявилась в уничтожении материальных ценностей, тогда как солдаты убили «несколько сотен» человек (точное число неизвестно), трое предполагаемых вожakov были повешены после подавления бунта. При штурме Бастилии нападавшие потеряли 150 человек, а сами после ее падения убили лишь 6—7 швейцарских гвардейцев, коменданта крепости де Лоне и одного члена муниципалитета. За период с июля по октябрь 1789 г. лишь четверо человек (в том числе один лавочник) стали жертвами народного самосуда; впоследствии 5 зачинщиков расправы были повешены за это и другие преступления. Во время крестьянских беспорядков летом 1789 г. бунтовщики убили 3—4 человек. В октябре в Версале восставшие убили двух гвардейцев, застреливших их товарища. Во время событий на Марсовом поле в июле 1791 г. толпа растерзала двоих, тогда как национальные гвардейцы Лафайета перебили свыше 50 демонстрантов. Во время продовольственных бунтов в Париже в 1792 и 1793 гг. и беспорядков в мае—июне и сентябре 1793 г. ни одна из сторон не понесла потерь. Во время последнего вооруженного восстания санкюлотов в мае 1795 г. массы, ворвавшись в Конвент, убили депутата Феро; наказание было суровым — 36 человек, включая 6 депутатов-якобинцев, были гильотинированы по приговору военного трибунала***.

Все эти данные свидетельствуют о том, что именно власти проявляли чрезмерную жестокость, расправляясь с восставшим народом, а не наоборот. Исключение представляют два эпизода периода Французской революции — события в августе и сентябре 1789 г. В первом случае речь идет об антироялистском восстании, 376 участников которого были убиты или ранены

защитниками режима; одержав победу, восставшие, обезоружив своих: противников, жестоко расправились с ними: были убиты 600 швейцарских гвардейцев. Во втором случае по приговору импровизированных трибуналов были казнены не менее 1100—1400 заключенных парижских тюрем, большинство из которых были не аристократами или священниками, а обычными уголовными преступниками¹⁷. Именно эти случаи приводят в пример Тэн и Ле Бон в доказательство своего тезиса о «кровавых инстинктах толпы». Безусловно, оба эпизода производят отталкивающее впечатление, однако для поведения масс они не типичны. В первом случае речь шла о военной акции, участники которой действовали по приказу своих командиров и вновь созданной революционной коммуны Парижа. Во втором — дело обстояло иначе. Последствия, к которым привело это выступление, не имевшее военного характера, объяснялись паникой, вызванной прорывом прусской армии под Верденом; большинство участников выступления были твердо убеждены, что заключенные при первой же возможности перейдут на сторону неприятеля и учинят над парижанами кровавую расправу. Однако и здесь приговоры, одобренные большинством, были приведены в исполнение небольшим числом «палачей», выполнявших (по крайней мере на первый взгляд) приказы членов коммуны и парижских секций¹⁸. Следует ли в таком случае считать народ (в том же значении слова, в каком оно употреблялось выше) активным или пассивным участником этих событий? Это спорный вопрос. Во всяком случае, оба эпизода не типичны для поведения и образа действий народных масс.

В заключение можно сказать, что массы, часто прибегая к насилию и действуя под влиянием момента, легко поддаваясь панике и остро реагируя на слухи, отнюдь не были изменчивы, иррациональны и не жаждали крови. Традиционная характеристика «черни», данная Ле Боном и подхваченная более поздними авторами, являясь свидетельством определенной образности мышления и наблюдательности ее автора, оторвана от исторической действительности, а потому тенденциозна, утрирована и неадекватна.

* Термин этот в изучаемое автором время имел несколько значений. В данном случае речь идет, по всей вероятности, о зажиточной части населения. — *Прим. ред.*

** Из 2255 заключенных-мужчин, высланных в Австралию в 1846—1847 гг., за поджоги были осуждены 89 человек, а из 2422 ссыльных 1852 г. — последнего года высылки в Австралию, за исключенном восточных районов страны, — 32 человека. (Tasmanian State Archives, MSS. 2/282—2/321).

*** См.: Rude G. *The Crowd in the French Revolution*, p.37—38, 56, 67—75, 89, 96—98, 116—117, 155—156; Lefebvre G. *Le Grand Peur de 1789* (Paris, №32), p. 242; Tonnesson K. *La défaite des sans-culotte* (Oslo and Paris, 1958), p. 330. Я не упомянул роялистское восстание в октябре 1795 г., во время которого обе стороны потеряли по 200—300 человек, так как, строго говоря, это не было народное выступление.

Ссылки на источники

1 Le Bon G. *The Crowd* (London, 1909), p.26; Lefebvre G. *Foules révolutionnaires*, в *Etudes sur la Révolution française* (Paris, 1954), p.273.

2 Lefebvre. *Op.cit.*, p.272.

3 *Middlesex Journal*, April 13—15 и 20—22, 1769.

4 *Hardy's Journal*, VIII, 475; Thompson E.P. *The Making of the English Working Class* (London, 1963), p.1681—1682.

5 Caiboni Raffaello. *The Eureka Stockade*, под ред. G.Serle (Melbourne. № 63), p.179.

6 Rude G. *The Crowd in the French Revolution* (Oxford, 1959), p.220—221.

7 Vauthier G. *Le cholera a Paris en 1832*, *La Révolution de 1848*, XXV (1928—1929), 234—241; Chevalier L. *Classes laborieuses et classes dangereuses* (Paris, 1958), p.XIX.

8 Le Bon. *Op.cit.*, p.133—134.

9 См. *The Crowd in the French Revolution*, p.48—49, 73—77, 229.

10 Archives Nationales Z² 4691 (July 29, 1789).

11 *The Crowd in the French Revolution*, p.230—231.

12 См. Wilkes and Liberty (Oxford, 1982), p.101—102; и *The Crowd in the French Revolution*, p.108, 230—231.

13 Le Bon. *Op.cit.*, p.16—17, 42, 73.

14 *Annual Register*, IX (1766), 149.

15 Hobsbawm E.J. *Economic Fluctuations and Some Social Movements since 1800*, *Economic History Review*, 2-я сер., V, i (1952). 8.

16 См. Wilkes and Liberty, p.51, 203-205; Wearmouth R. W. Methodism and the Common People of England of the Eighteenth Century (London, 1945), p.19-91; Williams D. The Rebecca Riots (Cardiff, 1953), p.213; Darvall F.O. Popular Disturbances and Public Order in Regency England (London, 1934) p.104, 120, 130; Thomson E.P. Op.cit, p.687; Hovell M. The Chartist Movement (Manchester, 1959), p.160, 59, 70, 76, 86, 89 и 155.

17 The Crowd in the French Revolution, p.104—105, 110.

18 Caron P. Les massacres de Septembre (Paris, 1935), p.100—102.

ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ НАРОДНЫХ НИЗОВ

В заключение остается невыясненным важный вопрос:

привели ли описанные выше выступления масс, исполненные динамизма и энергии, нередко героические и неукротимые, к каким-либо положительным результатам? Чего достигли массы в описываемый период общественного развития во Франции и в Англии? Приходится признать, что сравнительно немногого. Пока профсоюзы, запрещенные законом, были слабыми и разобщенными, участники забастовок и иных выступлений за повышение заработной платы могли рассчитывать лишь на кратковременные ограниченные успехи. Парижские рабочие, прекратив работу в 1794 г., то есть во время войны, когда рабочих рук не хватало, добились значительного повышения заработной платы, которое, впрочем, было сведено на нет последовавшим ростом инфляции. Луддиты, которым, естественно, воспрепятствовать дальнейшему распространению паровых машин не удалось, все же вынудили предпринимателей-суконщиков Йоркшира и трикотажников центральных графств пойти на определенные уступки; но уступки эти потеряли всякое значение из-за экономической депрессии, которая продолжалась и после того, как бунты давно уже были подавлены. Участники английских аграрных бунтов — ткачи, шахтеры, фригольдеры, мелкие арендаторы, сельскохозяйственные рабочие, — сносившие изгороди, разрушавшие фермы и мельницы и устанавливавшие собственные цепи на пшеницу, зерно, мясо и масло, на день-другой восстанавливали социальную справедливость до прибытия воинских частей и ополченских отрядов. Солдаты разгоняли бунтовщиков и арестовывали их вожakov, которых затем казнили, сажали в тюрьмы или отправляли в ссылку, и вновь устанавливали привычный порядок. Французские голодные бунты 1775 г. сильно встревожили королевское правительство, ибо достигли такого размаха, что грозили перекинуться на столицу; однако Тюрго, сосредоточив крупные военные силы, разгромил бунтовщиков, не сделав ни малейших уступок в вопросах, послуживших причиной волнений. По сути дела, из всех многочисленных голодных бунтов того периода только выступления в период Французской революции, особенно в 1793 г., достигли целей, поставленных их участниками.

Бунты в городах, в тех случаях когда они возникали не во время революций, оказывались немногим успешнее. Участники Гордоновым антипапистских бунтов были хозяевами лондонских улиц и течение недели, но так и не добились отмены Акта об облегчениях католикам, послужившего причиной волнений. Во время беспорядков 1791 г. запуганный Пристли вынужден был эмигрировать из Бирмингема в Соединенные Штаты, однако испугали его не только и не столько насильственные действия участников движения «За церковь и короля!», сколько непрекращавшееся преследование со стороны властей. Восстания во французских городах до 1787 г. были весьма незначительны и еще менее успешны, чем в Англии. О результатах массовых выступлений в Бристоле и Ноттингеме в 1831 г., как и в Бирмингеме и гончарных городках в 1839—1841 гг., трудно судить, ибо эти выступления являлись составной частью более широких движений: кампании за билль о реформе в первом случае и чартизма — во втором.

И все же наряду с поражениями массовые движения нередко достигали и неоспоримых успехов. Так, после бунтов «Ревекки» были уничтожены ненавистные заставы, уменьшен размер подати, а взамен непопулярных корпораций созданы советы графств. Бунты «Свинга» не привели к столь внушительным результатам; но все же в некоторых районах фермеры, негласно договорившись между собой, решили не заводить новых молотилок взамен разрушенных батраками. Активные действия сторонников Уилкса в Лондоне не только обеспечили ему блестящую победу на выборах, но в значительной мере

способствовали также развитию массового радикального движения в Англии. Чартистское движение, в свое время потерпевшее неудачу, едва ли можно считать безрезультатным: в течение последовавших ста лет пять из шести пунктов Хартли были приняты английским парламентом. Нет необходимости подробно останавливаться на том огромном влиянии, которое оказала Французская революция 1789 г. и в несколько меньшей степени революции 1830 и 1848 гг. на развитие событий в самой Франции и за ее пределами.

Почему же одни массовые выступления были успешными, а другие терпели полный провал? Ответ на этот вопрос связан с анализом целого ряда проблем — социальных, идеологических, политических и административных, которые возникали как до, так и после начала волнений*. Однако в этой небольшой по объему заключительной главе имеет смысл остановиться прежде всего на проблемах, возникавших после начала волнений. В первую очередь внимания заслуживают вопросы, связанные с успехами на начальных этапах тех или иных массовых выступлений. Если восставшие не обладали явным численным превосходством, их первоначальные успехи зависели от таких факторов, как внезапность, инициатива, использование географических особенностей данной местности. Например, участники аграрных волнений, как правило, сравнительно легко добивались некоторых успехов в начале бунта, до прибытия воинских частей или ополченческих отрядов. Так, в 1775 г. во Франции участники голодных бунтов беспрепятственно хозяйничали на рынках и в деревнях в течение целой недели и даже добрались до Версаля и Парижа, прежде чем Тюрго удалось сосредоточить военные силы, достаточные для подавления восстания. В Лондоне в марте 1768 г. сторонники Уилкса смогли без помех отпраздновать его первую победу на выборах в парламент от Мидлсекского округа, ибо полицейские силы были переброшены из Лондона в Брентфорд, где проходили выборы. Точно так же во время парижских голодных бунтов 1793 г. восставшие захватили бакалейные лавки, не встретив сопротивления, так как части национальной гвардии были в тот день направлены в Версаль.

В других случаях — при возникновении беспорядков в разных местах одновременно — даже самые опытные и решительные войсковые командиры и полицейские чины не могли эффективно использовать имевшийся у них перевес сил. Так, например, обстояло дело на первом этапе бунтов «Ревекки» и в начале луддитского движения в Англии. В апреле 1848 г. чартистский конвент по предложению Эрнста Джонса разработал план, как отвлечь внимание властей от Лондона, где планировалось выступление; по этому плану намечалось одновременно провести ряд демонстраций в провинции, «дабы тамошние смельчаки сковали силы стражей закона»¹.

Но подобная тактика могла обеспечить лишь временную передышку. Для достижения значительных успехов нужны были иные, более существенные предпосылки. Из всех приведенных выше примеров это удалось лишь в одном случае. В 1768 г. власти так и не смогли справиться со сторонниками Уилкса: народ шумно праздновал его победу и после возвращения в Лондон полицейских, направленных ранее в другие районы. Напротив, в Париже в феврале 1793 г. беспорядки были быстро подавлены вернувшимися в город национальными гвардейцами во главе с пивоваром Сантерром. И в других случаях, о которых уже говорилось, властям по прошествии какого-то времени удавалось мобилизовать необходимые силы для подавления волнений. В 1775 г. Тюрго направил против повстанцев целых две армии: одну в Иль-де-Франс под командованием маркиза де Пуайенна и другую — в Париж под командованием старого полководца герцога Бирона, и в течение недели бунт был подавлен. Как уже отмечалось, в Англии в 1812 г. против луддитов было брошено 12 тыс. солдат. В истории страны нет другого случая, когда в подавлении гражданских беспорядков участвовали бы столь крупные военные силы**. В годы наивысшего подъема чартистского движения в районы, являвшиеся его эпицентром, было стянуто большое количество солдат регулярных войск: 10 500 — в 1839 г. и 10 тыс. — в 1842 г. В апреле 1848 г. власти, готовясь окончательно разгромить чартистов, мобилизовали 170 тыс. специальных констеблей и сосредоточили в одном лишь Лондоне 7123 солдат регулярной армии и 1290 вооруженных наемников².

Цифры, безусловно, впечатляющие, однако можно предположить, что в конечном итоге дело было не столько в количестве солдат, сколько в готовности властей прибегнуть к военной силе и их способности эффективно ее использовать. Как уже отмечалось, многое зависело от того, насколько быстро и оперативно они стягивали войска, и в еще большей степени от решимости

Однако подобная нелояльность магистратов или их тайный сговор с бунтовщиками давали последним лишь временные преимущества и только в исключительных случаях, как, например, во время «восстания аристократов» во Франции в 1788 г., имели более серьезные последствия. Лишь таким ограниченным и реакционным движениям, как движение «за церковь и короля», этот фактор мог обеспечить полный успех. При подавлении народных волнений власти во Франции и Англии, как правило, прибегали к армии как к крайнему средству, и, пока армия в общем и целом сохраняла верность власти имущим, бунтовщики по представляли серьезной угрозы существующему порядку. В чисто теоретическом отношении гражданское население, имея оно возможность вооружиться в достаточной степени, могло бы захватить власть в столь короткий срок, что армия не успела бы оказать сопротивления или взбунтоваться против новых правителей, однако в действительности этого никогда не случилось ни в те времена, ни позднее. В Англии армия на протяжении всего описываемого периода хранила непоколебимую верность королю и парламенту, хотя в 1839 и 1840 гг. генерал Папьер, командующий вооруженными силами на севере страны, и выражал опасения, как бы чартистская агитация не заразила и его солдат⁷.

Во Франции армия, неприязненно относившаяся к тому или иному министру, не давала, однако, серьезных поводов усомниться в ее верности королю вплоть до осени 1787 г. Еще в 1783 г. Себастьян Мерсье считал абсолютно немыслимым, чтобы столь надежно охраняемый город, как Париж, стал ареной серьезных беспорядков, подобных Гордоновым бунтам в Лондоне, где полиция была не столь многочисленна⁸. Однако вскоре ему пришлось убедиться, что не все решает простая арифметика. Эффективность вооруженных сил во время гражданских беспорядков зависит не столько от их численности, сколько от готовности к беспрекословному повиновению. В 1787 г., а тем более в 1789 г. французская армия не проявила такой готовности. Брожение в армии сначала охватило не солдат, а офицеров. Французские офицеры того времени, в большинстве своем представители провинциального дворянства, давно уже были недовольны своим положением и медленным продвижением по службе. «Восстание аристократов» и предоставило им долгожданную возможность выразить это недовольство. В Бретани, Дофинэ и других провинциях они приказывали солдатам не стрелять в демонстрантов, отказывались арестовывать непокорных членов местных магистратов, одним словом, подавали пример неповиновения своим солдатам, которому, имея для недовольства свои причины, те не замедлили последовать.

В феврале 1789 г., еще до начала революции, Неккер предупредил короля, что полагаться на армию, охваченную недовольством, при подавлении гражданских беспорядков более нельзя. С этого времени для охраны двора в Версале, а позднее для наведения порядка в столице стали использовать иностранных наемников или части из отдаленных провинций. В апреле у парижских гвардейцев еще хватило лояльности расправиться с участниками Ревейоновых бунтов. Однако к июню они уже принимали участие в демонстрациях под лозунгом «Да здравствует третье сословие!», а в июле сыграли решающую роль в штурме Бастилии⁹. После этого родилась новая национальная армия, присягнувшая на верность нации и новой революционной власти. Но армейские части были расквартированы в провинциях, а охрану столицы несли части национальной гвардии. Национальная гвардия, вначале состоявшая почти исключительно из буржуа, как мы видели, была достаточно эффективной в разгоне демонстрации в июле 1791 г., однако постепенно она стала орудием санкюлотов в той же мере, что и Законодательное собрание. И только в мае 1795 г., когда в столицу были введены армейские части, народные выступления, являвшиеся отличительной чертой Французской революции на всех ее этапах, окончательно прекратились.

В 1830 и 1848 гг. переход вооруженных сил на сторону восставших сыграл решающую роль в поражении королевского правительства и победе революции. Однако события и в том, и в другом случае развивались иначе, чем в 1789 г. Восстание 1830 г. было кратковременным: три дня шли уличные бои, приведшие к низложению Карла X; на престол взошел Луи Филипп, остававшийся у власти в течение последовавших 18 лет. В феврале 1848 г. Луи Филипп в свою очередь был свергнут; основная заслуга в этом принадлежала национальной гвардии, а не армии, занявшей нейтральную позицию и не примкнувшей к восстанию. Хотя выступления народных масс против Временного правительства и

Законодательного собрания и были более многочисленны и лучше организованы, чем в 1789 г., для их подавления потребовалось на сей раз не шесть лет, а всего четыре месяца. В какой-то степени это объяснялось наличием железных дорог, сделавших возможным быструю переброску войск с голицу, однако гораздо более важным было то обстоятельство, что национальная гвардия и мобильная гвардия сохранили верность новому режиму, обеспечив ему в июне победу над восставшими.

Повторять, что исход народных восстаний и бунтов зависит главным образом от лояльности находящихся в распоряжении властей вооруженных сил, казалось бы, нет надобности. «Совершенно очевидно, — пишет Ле Бон, — что революции вообще невозможны без поддержки значительной части армии»¹⁰. Проф.Крейн Бринтон приходит к аналогичному заключению. «Едва ли кто усомнится в том, — пишет он, — что ни одно правительство не будет свергнуто до тех пор, пока оно полностью контролирует вооруженные силы и полицию»¹¹. Подобные утверждения, сами по себе бесспорные, еще не содержат всю истину; более того, они заставляют задуматься над еще одним, гораздо более важным вопросом: почему же армии вообще отказываются повиноваться властям, которые утрачивают контроль над вооруженными силами? Разумеется, это уже социально-политическая, а не военная проблема. Если члены магистратов попустительствуют бунтовщикам, а солдаты отказываются стрелять в восставших или даже братаются с ними, это означает, что классовая принадлежность и общность политических устремлений оказываются в определенный момент сильнее присяги па верность существующему строю и правительству.

Свидетельство тому — уже приведенные выше примеры неповиновения офицеров-дворян в 1788 г., солдат — в 1789 г. В феврале 1848 г. части национальной гвардии, изменившие Луи Филиппу, достаточно ясно дали понять — словом и делом, — что, как и городские торговцы, плоть от плоти которых они были, они полностью поддерживают требование о политической реформе, выдвинутое всеми средними классами в целом. Но само по себе это еще не могло обеспечить успех февральской революции, который в значительной степени явился результатом взаимодействия национальных гвардейцев с радикальными литераторами — выходцами из среднего класса и другими весьма различными социальными элементами, составлявшими революционные массы. По социально-историческим причинам этот союз оказался кратковременным; в июньском восстании народ потерпел поражение, лишившись поддержки своих союзников по февральскому выступлению.

Точно так же и революции 1789 г. крупные восстания и другие массовые выступления приводили к успехам и тех случаях, когда санкюлоты — основной компонент революционных масс — действовали совместно с различными представителями средних классов и даже с либерально настроенной частью дворянства. После того как этот союз различных социальных сил весной 1795 г. окончательно распался, демонстрации и бунты парижского простонародья были обречены на неудачу, точно так же как и выступления крестьян и городской бедноты в 1775 г.

Как уже отмечалось, в Англии массы гораздо реже достигали успехов, чем во Франции. Только однажды, в 1831 г., Англия была близка к революции: вспыхнувшие тогда волнения в Ирландии, аграрные беспорядки и недовольство низов и среднего класса первым биллем о реформе привели страну на грань гражданской войны. И дело не столько в том, что методизм или любое другое религиозное движение препятствовали в Англии революционному взрыву, отвлекая внимание масс от дел земных. Ни одно движение протеста английского низшего сословия, по крайней мере до 40-х гг. XIX в., не имело шансов на успех без поддержки других социальных групп. Но возникавшие лишь изредка подобные союзы оказывались кратковременными и приводили лишь к ограниченным результатам. Так, народный радикализм добился некоторых успехов, но это длилось только до тех пор, пока Уилксовы волнения низов были поддержаны мидлсекскими фригольдерами, лондонскими ремесленниками, лавочниками, торговцами. Точно так же «чернь», принимавшая участие в Гордоновых бунтах, оставалась хозяйкой лондонских улиц лишь до тех пор, пока члены магистратов и зажиточные граждане Сити не вмешивались в происходящее; как только они перешли к активным действиям, движение было обречено на поражение. Участникам движения «за церковь и короля» в Бирмингеме в 1791 г. едва ли удалось бы разрушить дом Пристли и изгнать его из города без явной или молчаливой поддержки некоторых членов городского магистрата.

«Дочери Ревекки» обязаны своими успехами не армии, которая была достаточно многочисленной для их подавления, а поддержке всего земледельческого населения и в какой-то степени готовности правительства пойти на некоторые уступки в вопросах, послуживших причиной бунтов. Чартисты не добились успеха потому, что даже довольно значительные масштабы движения все же не компенсировали поддержки со стороны средних классов, которой им так не хватало. В конечном итоге, однако, почти все шесть пунктов Хартии были позднее приняты именно под давлением тех самых представителей среднего класса, которые остались в стороне от чартистского движения в 40-х гг. XIX в.

Можно ли, однако, оценивать роль народных масс в истории лишь на основании их успехов и поражений? Бесспорно, в одних случаях влияние низов на ход событий было гораздо заметнее, чем в других. В этом смысле участники революций 1789 и 1848 гг. по своей сознательности и достигнутым успехам стояли на голову выше участников стихийных и зачастую обреченных на неудачу выступлений: всех тех, кто ломал ворота и машины, разрушал дома во имя «короля и церкви» или устанавливал свои цены на продовольствие во время голодных бунтов. Подобные различия немаловажны сами по себе. Но в более широком смысле низы «доиндустриального» периода, независимо от успеха или поражения народных движений, наложили свой отпечаток на историю целого периода. По мере развития общества менялся облик и самих народных низов, однако некоторые их черты как бы переходили по наследству к их потомкам. Санкюлоты, мелкие фригольдеры и батраки уступили место фабричным и сельскохозяйственным рабочим, на смену разрушителям машин, поджигателям стогов и бунтовщикам — участникам движения «за церковь и короля» пришли члены профсоюзов, рабочие-активисты, организованные потребители нового, «индустриального» общества. Случалось, что новое вино наливали в старые мехи. В целом, однако, можно с полным основанием считать, что эти ранние, незрелые и примитивные, зачастую обреченные на неудачу пробы сил были предвестниками позднейших движений, которые привели к более значительным и долговременным успехам.

* См.: Smelser N.J. *Theory of Collective Behavior* (London, 1982), p.261—268, 364—379. В этой работе говорится о так называемом «общественном контроле» бунтов и волнений.

** На последнем этапе Гордоновых бунтов 1780 г. в парках и на площадях Лондона было размещено 10 тыс. солдат (De Castro P. *The Gordon Riots* (London, 1926) p.263).

Ссылки на источники

1 Чит. по: Mather F.C. *Public Order in the Age of the Chartists* (Manchester, 1959), p.22.

2 Lavissee E. ed. *Histoire de France depuis les origines jus-qu'a la Revolution* (9 vols., Paris, 1911), IX, 33; Darval F.O. *Popular Disturbances and Public Order in Regency England* (London, 1934), p.259—260; Mather F.C. *Op. cit.*, p. 152, 163; Ho veil M. *The Chartist Movement* (London, 1818), p.290.

3 См., например, Darvall. *Op.cit.*, p. 244—245; Mather, *Op.cit.*, p.60—61.

4 Mather. *Op.cit.*, p.180.

5 Чит. по: Williams D. John Frost (Cardiff, 1939), p.59—60.

6 Hagvy E.A. *History of the English People in 1815* (3 vol., London, 1937), I, 183-198.

7 Mather. *Op.cit.*, p.177—181.

8 Mercier L.S. *Tableau de Paris* (12 vols., Amsterdam, 1783), VI, 22-25.

9 См. мою работу «The Outbreak of the French Revolution» в *The New Cambridge Modern History*, t.VIII.

10 Le Bon G. *The Psychology of Revolution* (New York, 1913), p.49; пит. по: Smelser N. *Theory of Collective Behavior* (London, 1962), p. 372.

11 Brinton Crane. *The Anatomy of Revolution* (New York, 1960), p. 266—267.

В библиотеке Vive Liberta ранее опубликована глава из этой работы «Французская революция: политический бунт, продовольственный бунт, трудовые конфликты» (<http://vive-liberta.narod.ru/biblio/rude.pdf>) .

Рекомендуем также

С.Лотте. «Дело Ревельона» (http://vive-liberta.narod.ru/journal/lotte_rev.pdf)

З.Чеканцева. Об исторической природе насилия: Франция XVII-XVIII вв. (http://enlightment2005.narod.ru/papers/viol_chek.htm)

З.Чеканцева. Открытый протест как волеизъявление: Франция XVII-XVIII вв. (http://enlightment2005.narod.ru/papers/contr_chek.htm)

З.Чеканцева. Политические представления французских простолюдинов на исходе Старого порядка (http://enlightment2005.narod.ru/papers/peopl_chek.htm)

З.Чеканцева. Праздник и бунт во Франции между Фрондой и Революцией (http://enlightment2005.narod.ru/papers/fest_chek.htm)

З.Чеканцева. Устойчивые слухи в обществе как проявление «коллективного воображаемого» (<http://vive-liberta.narod.ru/journal/chekanz1.pdf>)

Ж.Лефевр. «Великий страх» 1789 года (<http://vive-liberta.narod.ru/biblio/lefebvre1.pdf>)

Л.Февр о Ж.Лефевре. «Великий страх» 1789 года (рецензия) (<http://vive-liberta.narod.ru/biblio/lefebvre2.pdf>)

Д ж о р д ж Р ю д е

НАРОДНЫЕ НИЗЫ в ИСТОРИИ

1730 – 1848

Перевод с англ. Е.Бухаровой и О.Зелениной
Предисловие и редакция д.ист.н. М.А.Барга

М.: Прогресс. 1984

Веб-публикация: редакторы сайтов Vive Liberta и Век Просвещения 2008

В библиотеке Vive Liberta ранее опубликована главы из этой работы «Французская революция: политический бунт, продовольственный бунт, трудовые конфликты» (<http://vive-liberta.narod.ru/biblio/rude.pdf>), «Лики толпы. Характер волнений и поведение масс. Победы и поражения народных низов» (<http://vive-liberta.narod.ru/biblio/rude2.pdf>).

ИДЕОЛОГИЯ и КЛАССОВОЕ СОЗНАНИЕ

Маркс положил начало изучению идеологии как орудия классовой борьбы и социальных перемен. Однако понятие идеологии как философской концепции выдвинули философы французского Просвещения. Один из них, философ-материалист Гельвеций, сам не употреблявший термина «идеология», подготовил тем не менее почву для его появления, выдвинув известный тезис: наши идеи — продукт общества, в котором мы живем. Термин «идеология» ввели в употребление лишь философы следующего поколения, современники Французской революции, которые превратили Французский институт, созданный Директорией в 1795 г., в центр распространения рационалистических традиций Просвещения. Один из них, Антуан Дестют де Траси, спустя несколько лет ввел термин «идеология» для обозначения общего учения об идеях.¹

Это понятие появляется позднее в работах Канта и Гегеля, на сей раз как специфическая категория немецкого философского идеализма. Гегель считал дух «абсолютным творцом» истории; по его словам, предмет философского познания является история духа, скрытого своим внешним материальным проявлением, но тем не менее легко распознаваемого как движущая сила мирового процесса. Поэтому идеология рассматривалась как непосредственная проекция духа («объективного духа», как писал Гегель), не имеющая самостоятельной сущности. Более того, поскольку «идеология» является универсальным понятием, она, по Гегелю, никак не может служить интересам определенных классов и групп, не говоря уже о народных массах, не заслуживавших, по мнению философов-идеалистов, особого внимания.²

Как известно, Маркс и Энгельс в юности увлекались философией Гегеля; ему они обязаны своей непоколебимой верой в конкретность истины, но, что важнее всего, Маркс и Энгельс взяли на вооружение диалектический метод Гегеля — учение о том, что источником развития является борьба противоречий, «тезиса» и «антитезиса». Однако в начале 40-х гг. XIX в. они начали ставить его философию с головы на ноги, отвергнув его идеализм и выдвинув вместо его концепции «духа» как активного первичного творца истории положение о первичности материи. Эти новые взгляды они впервые изложили в совместно написанной ими работе

«Святое семейство, или Критика критической критики», опубликованной в 1845 г.³ Метафизическому толкованию исторического процесса Маркс и Энгельс противопоставили свою концепцию исторического материализма.⁴ В «Немецкой идеологии», написанной спустя несколько месяцев, они сформулировали в первом приближении основное положение своей концепции: не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет сознание.⁵

Это материалистическое переосмысление учения Гегеля в какой-то мере основывается на положении Гельвеция о зависимости идей от общества, которое их порождает, с одним лишь весьма существенным различием: Маркс не считал эту зависимость абсолютной или односторонней; по его мнению, между идеями и практикой существовало взаимодействие. Более полно эта мысль развита в работе «Тезисы о Фейербахе»: «Материалистическое учение о том, что люди суть продукты обстоятельств и воспитания... забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми и что воспитатель сам должен быть воспитан».⁶ Таким образом, Маркс и Энгельс, отвергая идеализм Гегеля, вместе с тем защищали его диалектический метод от критики «вульгарных материалистов» — Фейербаха и его последователей. Однако, подчеркивая способность людей «изменять обстоятельства», Маркс отмечает, что это возможно в определенных условиях. Ему принадлежит знаменитая фраза: «Человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить».⁷

Итак, какой смысл вкладывал Маркс в понятие «идеология»? Идеология впервые попала в поле зрения Маркса, когда он вместе с Энгельсом приступил к критике философских взглядов самых шумных последователей Гегеля — младогегельянцев. Маркс пришел тогда к выводу, что их вывернутые наизнанку представления о мире неверны, а стало быть и идеология, играющая столь большую роль в их мышлении, оказывается «воображением».

Маркс выводил свое понятие идеологии от противного, отталкиваясь от ложного сознания младогегельянцев и, в более широком смысле, от любых других форм «псевдоидеологии».

Эти «фантазии», пишет Маркс, имеют и другое назначение: они служат действенным орудием классового господства. «Мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господствующими мыслями. Это значит, что тот класс, который представляет собой господствующую *материальную* силу общества, есть в то же время и его господствующая *духовная* сила. Класс, имеющий в своем распоряжении средства материального производства, располагает вместе с тем и средствами духовного производства, и в силу этого мысли тех, у кого нет средств для духовного производства, оказываются в общем подчиненными господствующему классу».⁸

Чтобы покончить со своим подчиненным положением, порвать с иллюзиями, навязанными ему капитализмом, пролетариат, как единственный класс, способный это совершить, должен выработать собственное «правильное» сознание — или классовое сознание, свойственное только ему. Только так он сможет осмыслить свое угнетенное положение и найти путь к освобождению. Это мучительное пробуждение, по Марксу, процесс коллективный: не отдельные пролетарии постигнут, словно по наитию, смысл происходящего и поведают об этом своим товарищам, а весь пролетариат будет постепенно вырабатывать свое классовое сознание. Маркс и Энгельс придавали огромное значение классовой борьбе, участию пролетариев в экономических и политических выступлениях с постановкой краткосрочных и долгосрочных целей. «Коммунисты, — гласит «Манифест Коммунистической партии», — борются во имя ближайших целей и интересов рабочего класса, но в то же время в движении сегодняшнего дня они отстаивают и будущность движения».⁹ Если, как отмечалось выше, общественное бытие определяет сознание человека, то возникает вопрос, в какой степени сознание в свою очередь влияет на экономический базис, иными словами, какую степень независимости от базиса надстройка (к которой относится и общественное сознание) вообще имеет, может ли она в

свою очередь влиять на базис, ее определяющий? Этот вопрос стал предметом горячих дискуссий и самых различных толкований после того, как Маркс дал свою знаменитую формулировку в «Критике политической экономии». Понятая буквально, эта формулировка подкрепляет, казалось бы, теории «детерминистов» — и критиков Маркса, утверждавших, что надстройка (включая общественное сознание и идеи) представляет собой, согласно теории Маркса, лишь прямое отражение базиса, продуктом которого она является. Другие философы считали, что идеи и идеология, являясь в основе своей порождением материального бытия, могут на крутых поворотах истории играть, по крайней мере временно, почти независимую роль. Ранние «философские» формулировки Маркса либо были амбивалентны в этом отношении, либо подтверждали, по мнению толкователей, скорее первую точку зрения. Но работы Маркса, например «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», и Энгельса «Крестьянская война в Германии», вне всякого сомнения, подтверждают вторую. Сам Маркс в одной из работ писал: «Теория становится материальной силой, как только она овладевает массами».¹⁰ Это, как представляется, ключ к решению вопроса. В своих работах, написанных уже после смерти Маркса, Энгельс считал необходимым еще раз сформулировать их точку зрения. Он решительно отстаивал положение, согласно которому в конечном счете идеи, религия и другие части надстройки определяются материальным базисом.

Вернемся теперь к вопросу о том, какими путями можно прийти к полной ясности сознания, о которой писал Маркс в «Святом семействе». «Манифест Коммунистической партии», где, как уже отмечалось, основной упор сделан на классовую борьбу, призывает также партии рабочего класса, в частности немецких коммунистов, ни на минуту не прекращать «вырабатывать у рабочих возможно более ясное сознание враждебной противоположности между буржуазией и пролетариатом».¹¹ Такие же положения содержатся в «Капитале» Маркса и в некоторых последних работах Энгельса. Вопрос встал в повестку дня в качестве теоретической проблемы в социал-демократических партиях, возникших в Европе в последние годы жизни Маркса. Даже в Англии, где рабочее движение не испытало на себе сильного влияния марксистского учения, Уильям Моррис в начале 90-х гг. XIX в. утверждал, что главной задачей социалистической партии является выработка подлинно социалистического сознания у трудящихся, без которого они будут не в состоянии осознать себя «как силу, противостоящую несправедливому обществу, и как единственно возможную основу общества справедливого».¹² Однако в то время это был глас вопиющего в пустыне.

Иной была обстановка в России, когда Ленин в самый канун революции 1905 г. обосновал необходимость создания партии нового типа, овладевшей идеями Маркса и способной воодушевить этими идеями промышленных рабочих, вчерашних выходцев из деревни, начавших ожесточенную экономическую борьбу с предпринимателями. Ленин критиковал людей, считавших, что активная борьба рабочих, направленная на достижение экономических целей, сама по себе, стихийно, приведет к выработке у них политического классового сознания. Он ясно заявил, что классовое политическое сознание может быть привнесено рабочему только извне, то есть извне экономической борьбы, извне сферы отношений рабочих к хозяевам, и отмечал далее: «*Всякое преклонение перед стихийностью рабочего движения, всякое умаление роли «сознательного элемента», роли социал-демократии означает тем самым... усиление влияния буржуазной идеологии на рабочих*». В итоге Ленин пришел к следующему выводу: «Вопрос стоит только так: буржуазная или социалистическая идеология. Середины тут нет. ...Поэтому всякое умаление социалистической идеологии, всякое отступление от нее означает тем самым усиление идеологии буржуазной».¹³

После победы Октябрьской революции в России и последовавших за ней революционных выступлений на Западе споры о революции как таковой и о революционной идеологии рабочего класса приобрели более философскую окраску. Наиболее известным на Западе теоретиком-марксистом, вновь поднявшим вопрос о революционной идеологии, был итальянец Антонио Грамши, который был свидетелем военного поражения своей страны в годы первой мировой войны и приобрел огромный жизненный опыт, будучи революционером и просидев десять лет в фашистском застенке. В своих «Тюремных тетрадах», созданных в годы заключения, он стремился разработать учение об идеологии восставших «простых людей». Чтобы обмануть цензуру, Грамши вынужден был писать туманно, а некоторые его положения, сформулированные вне контекста, выглядят подчас несколько неожиданно. Но при всем том оригинальность самого его подхода к проблемам идеологии совершенно очевидна. Он различает два вида идеологии: идеология как органическая составная часть определенной социальной структуры и идеологии произвольные, «рационалистические», «навязанные». Основное внимание Грамши уделяет идеологии первого типа, которая имеет «психологическую» ценность, организуя людей, создавая основу прогресса, способствуя осознанию массами целей своей революционной борьбы и т.д. Естественным представляется вывод Грамши, что идеологию, хотя и связанную неразрывно (как и все другие элементы надстройки) с базисом, следует рассматривать все же как относительно независимую силу, ту самую потенциальную материальную силу, о которой писал Маркс. Идеология, по Грамши, обретает еще большую независимость от базиса в том случае, если перестает быть «заповедником» основных классов индустриального общества; в его системе есть место и для недифференцированных моделей мышления, распространенных среди «простых людей», зачастую противоречивых, непоследовательных, уходящих корнями в фольклор, мифологию, повседневный народный опыт. Подобные формы относятся к «неорганической», по терминологии Грамши, идеологии. Оттолкнувшись от них, он переходит к анализу образа мыслей среднего и низшего классов. Грамши проанализировал положение крестьян и ремесленников, потенциальных союзников рабочего класса.

Однако основной вклад Грамши в учение об идеях — это его интерпретация понятия «гегемония». Для него гегемония — это не просто господство — идейное или политическое. Его интересует не константа, а процесс, в ходе которого правящий класс завоевывает — по большей части мирными средствами — доминирующее положение и в сфере идей, навязывая другим классам определенный образ мыслей. Это достигается благодаря контролю над средствами идейного воздействия в той части общества, которую Грамши именует «гражданским обществом»: прессой, церковью, системой образования. В результате народ становится добровольным пособником собственного закрепощения. Может ли пролетариат, представляющий большинство населения, освободиться от этих идеологических оков, и если может, то каким образом? — спрашивает Грамши и отвечает: да, причем лишь одним путем: вырабатывая собственную контридеологию, которая нейтрализует вредоносную для него идеологию правящего класса и создаст необходимую предпосылку для захвата государственной власти. Установление идеологической гегемонии требует, чтобы у пролетариата были свои хорошо подготовленные идеологи, так же как у буржуазии есть свои. Таковыми должны стать «органические» интеллигенты (Грамши применяет этот термин для профессиональных деятелей обоих «основных» классов). Задача этих «органических» интеллигентов, действующих в интересах пролетариата, заключается не только в том, чтобы вооружить свой класс новой идеологией — практической идеологией, но и в том, чтобы нейтрализовать, привлечь на свою сторону, побудить порвать старые социальные связи так называемых «традиционных» интеллигентов, которые, выражая интересы «традиционных классов», например крестьянства и ремесленников, не примыкают ни к одному из основных антагонистических классов. Только так пролетариат, по мнению Грамши, сможет создать собственную контридеологию, подорвать идеологию противника и затем нанести ему поражение в борьбе за политическое господство.

Вслед за Марксом и Энгельсом Грамши придает особое значение глубокому и непредвзятому анализу конкретных исторических условий, включая соответствующую идеологию. (Идеологию, по его мнению, необходимо анализировать в историческом контексте, в категориях «практической» философии, как надстроечное явление). Все это подготовило почву для анализа идеологии народных масс в широком смысле слова: не только идеологии пролетариата в промышленном обществе, но и идеологии его предшественников, а также крестьян, фермеров, мелких собственников города в переходный период общественного развития, когда современные «основные» классы еще не сформировались окончательно.

Ссылки на источники

1. Lichtheim G., The Concept of Ideology and other Essays, New York, 1967, pp.4—11.
 2. Там же, с.11—17.
 3. См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.2.
 4. Маркс и Энгельс никогда не считали себя первооткрывателями роли классовой борьбы в истории. Впервые на это указали историки периода Реставрации Тьерри и Гизо.
 5. См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.3, с.25.
- Более известна формулировка: «Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание», данная в работе «Предисловие к «К критике политической экономии».
6. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 3, с.2.
 7. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 13, с.7.
 8. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.3, с.45—46.
 9. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.4, с.458.
 10. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.1, с.422.
 11. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.4, с.459.
 12. Morris William. «Communism» — лекция в социалистическом обществе Хамерсмита 10 марта 1893, цит. в «Political Writings of William Morris», под редакцией A.L.Morton, London, 1973, p.233.
 13. Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.6, с.38—40.

ИДЕОЛОГИЯ НАРОДНОГО ПРОТЕСТА

В предыдущей главе мы коснулись марксистского учения об идеологии рабочего класса и его борьбе против господства капиталистической идеологии в современном промышленном обществе и не уделили достаточного внимания борьбе крестьян, торговцев и ремесленников как на современном этапе развития, так и в «доиндустриальную» эпоху — в период перехода от феодального способа производства к капиталистическому. Но учение об идеологическом противоборстве между двумя антагонистическими классами в современном обществе имеет к теме данной работы лишь косвенное отношение. Автор анализирует переходное общество с его «традиционными» социальными группами.

Другие авторы ранее уже проводили различие между двумя типами идеологий: идеологией «структурированной», то есть обладающей четкой или по крайней мере различимой внутренней структурой (по мнению некоторых, лишь эта идеология заслуживает своего названия), и другой, отражающей более примитивные представления, психический склад и умонастроение. Ограничиться при изучении народной идеологии анализом идеологии лишь первого типа было бы неправомерно; второй же тип идеологии, более соответствующий теме этой работы, слишком ограничен сам по себе. Равным образом следует отвергнуть и такие представления, на которых зиждется, к примеру, теория Оскара Льюиса о «культуре бедности»: как это видно из самого названия, она исходит из пассивности и смирения масс.¹ Эта теория, хотя и признает понятие «класс» (в смысле осознания собственной социальной приниженности в отношениях между «нами» и «ими»)², едва ли поможет анализу проблем идеологии народного протеста. Исходя из вышеизложенного, автор и поставил себе целью разработать в этом вопросе собственные теоретические положения.

НАРОДНЫЕ НИЗЫ В ИСТОРИИ

Народная идеология «доиндустриального» периода — это не внутреннее дело и не исключительный домен какого-то одного класса или социальной группы, что уже само по себе отличает ее от идеологии как «классового сознания» или его антитезы, то есть от идеологии в традиционном смысле слова, о которой шла речь выше. Народная идеология — это, как правило, сочетание двух элементов: один из них присущ самим низшим «народным» классам; другой — постепенно привносится в эти классы извне и адаптируется ими. Первый из указанных элементов можно определить термином «врожденная традиционная идеология», как бы впитанная с молоком матери. Она не навеяна проповедями и речами, не вычитана из книг, а вытекает из непосредственного опыта, устной традиции и народной памяти. Второй элемент народной идеологии — это позаимствованные ими, «привнесенные» извне идеи и представления, нередко принимающие форму систематизированных политических или религиозных убеждений, как, например, понятия «права человека», «народный суверенитет», «свобода предпринимательства», «„священное“ право собственности», «национализм», «социализм» и, наконец, различные версии оправдания верой*. Отсюда следуют два весьма важных вывода: во-первых, что народное сознание не представляет собой «чистой доски» (*tabula rasa*), на которой ввиду отсутствия каких-либо собственных идей можно начертить новые идеи (утверждение, весьма дорогое сердцу приверженцев убеждений в «безмозглости черни»), во-вторых, что автоматический переход от простых к более сложным представлениям невозможен (Ленин еще в 1902 г. писал, что русские рабочие не в состоянии стихийно, сами по себе выработать такие идеи). Но равным образом важно осознать, что оба названных типа идеологии не отделены друг от друга китайской стеной; более того, неправомерно рассматривать один из них как «высший» или стоящий на более высоком уровне по сравнению с другим. В действительности они часто накладываются один на другой. Так, например, среди «врожденных» убеждений одного поколения, являющихся частью его базисной культуры, некоторые были привнесены извне в сознание предыдущего поколения.

Достаточно упомянуть в этой связи о генезисе понятия «норманское иго», о чем писал Кристофер Хилл.³ Понятие это восходит к древним свободам, отнятым у свободолюбивых англосаксов Вильгельмом Нормандским, которого некоторые источники непочтительно именуют незаконнорожденным, и его нормандскими рыцарями или бандитами, убеждения которых, будучи обогащенными опытом последующих поколений, превратились в народную легенду, игравшую большую роль в народных движениях в Англии вплоть до периода чартизма в 30—40-х гг. XIX в.

То же самое можно сказать и о религиозных идеях, заключенных в лютеранстве и кальвинизме, которые, будучи признаны протестантским государством и бесконечно повторяемые поколениями священников и богословов, в той или иной форме к началу XVII в. стали частью «врожденной» идеологии народа и его культуры в целом. Далее, второй тип — «привнесенная» идеология; эффективно воспринимается только тогда, когда попадает на хорошо подготовленную почву; в противном случае ее отвергнут столь же несомненно, как это сделали испанские крестьяне в 1794 г., отвергнувшие доктрину Прав человека (с энтузиазмом воспринятую немцами, итальянцами и даже католиками — поляками и ирландцами). Разумеется, подобное сопротивление новым идеям свойственно не только простым людям. Австралиец Феликс Рааб писал, насколько по-разному были восприняты различными поколениями английского джентри и придворной знати в XVI и XVII вв. радикальные идеи Макиавелли: то, что одно поколение предавало анафеме, для другого оказывалось приемлемым, а на третье нагоняло скуку.⁴

Способность к восприятию — это только одна сторона вопроса: гораздо большее значение имеет то обстоятельство, что «привнесенные» или более оформленные идеи по сути своей зачастую представляют в рафинированной форме «врожденные» убеждения и народный опыт. Таким образом, процесс передачи идей протекает не в одном направлении, а представляет постоянное взаимодействие между двумя типами идеологии. Маркс и Энгельс писали в «Манифесте Коммунистической партии», что «теоретические положения коммунистов... являются лишь общим выражением действительных отношений происходящей классовой борьбы, выражением совершающегося на наших глазах исторического движения».⁵ Этот вывод применим не только к идеям Маркса: совершенно очевидна связь между демократическими идеями Руссо и борьбой за демократию, которая в его родной Женеве началась раньше, чем где-либо в Европе, не говоря уже о других континентах.

Молодой американский ученый в одном из опубликованных недавно книжных обзоров выдвигает предположение, что опыт и «врожденная» идеология лионских шелкоткачей, первыми среди французских рабочих начавших политическую борьбу за право объединяться в «ассоциации», помогли французским социалистам — Прудону и Луи Блану — несколько лет спустя разработать так называемую «кооперативную теорию».⁶

Где же проходит граница между двумя типами идеологий? Примером «врожденных» убеждений является, по мнению автора, прежде всего неотъемлемое право на землю в представлении крестьян — будь то в форме частной или общественной собственности. Именно эта вера в наши дни воодушевляет на борьбу крестьян Мексики, Колумбии, Новой Гвинее, так же как она вдохновляла участников крупнейших крестьянских восстаний в Европе в 1381, 1525 и 1789 гг., бунтов против сборщиков податей в Японии времен Токугавы, ирландцев, боровшихся за землю на протяжении почти всего XIX в., или английских крестьян, выступавших против огораживаний в период между XVI и XVIII вв. Подобно тому как крестьяне свято верили, что по справедливости они имеют право владеть землей, городская и деревенская беднота верила в свое право покупать хлеб «по справедливой» цене, определявшейся опытом и обычаями⁷, а рабочие — в свое право на «справедливую» заработную плату, не зависящую от произвола предпринимателей или, говоря современным языком, от законов спроса и предложения. Многочисленные голодные бунты во Франции и в Англии в XVIII—начале XIX в., движение луддитов, выступления разрушителей машин в южных графствах Англии в посленаполеоновский период убедительно показывают, сколь живучи подобные требования.

Точно так же «свободнорожденный» англичанин тех времен чтит свои традиционные «свободы» и восставал, когда на них покушались, а мелкие фригольдеры и горожане, оказавшиеся под угрозой экспроприации, боролись и до сего дня борются против «улучшающих** свои владения» лендлордов и фермеров, предприимчивых буржуа и городских властей, разоривших их и разрушивших их общины «во имя прогресса». Указанные слои зачастую предпочитали иметь дело с «уже известным злом», занимали консервативную, а не прогрессивную позицию, требуя восстановления своих утраченных прав, чем выступать за перемены или реформы. Однако многие не только среди мятежников разделяли миллениаристские или хиластические убеждения и поэтому были более склонны связывать свои судьбы с неожиданными переменами или обещаниями таковых при втором пришествии Христа или, наконец, с «добрыми» мирскими вестями, например, решением Людовика XVI созвать Генеральные штаты летом 1789 г.⁸

Следует упомянуть и о других аспектах народной идеологии, не столь броских и не всегда получающих отражение в источниках. Таковы, по терминологии, введенной французскими авторами Леруа Ладюри, Мандру, Вовелем и другими, менталитет — психический склад и коллективное мироощущение простых людей, которые, подобно различным элементам так называемой «плебейской культуры» Э.П.Томпсона, никоим образом не сводились только к протесту, хотя и имели к нему отношение. Мишель

Вовель, к примеру, доказал, что коллективное восприятие французских крестьян и городских низов в определенных его проявлениях, таких, как изменившееся отношение к религии и смерти, поведение на народных празднествах и т.д. в последние годы старого порядка, предвосхитило некоторые аспекты идеологии народных масс в 1789 г.⁹

Идеология этого типа подчас принимает форму причудливой амальгамы несопоставимых представлений, среди которых трудно различить «врожденные» и сравнительно недавно «привнесенные». По сути своей это явление того же порядка, что и упоминаемая Грамши «противоречивость» идеологии рядового итальянца. Хобсбом приводится пример вожака итальянских разбойников в

60-е гг. XIX в. — период гарибальдийских войн, — распространявшего прокламацию следующего содержания: «Долой предателей, долой нищих, да здравствует справедливое Неаполитанское королевство и его христианнейший правитель, да здравствует наместник бога Пий IX, да здравствуют наши неукротимые братья-республиканцы!»¹⁰

Еще более эклектичной была в 80-х гг. XVIII в. идеология ирландских крестьян-дефендеров («защитников католической веры»), стоявших ступенью ниже на социальной лестнице. В ней причудливо переплетались национализм и приверженность республиканской форме правления, католическое благочестие и идеалы Американской и Французской революций.

Примером такого же раздвоения лояльности (хотя в данном случае это нельзя объяснить одним лишь смешением понятий) может служить преданность крестьян, поднимавшихся с оружием в руках против помещиков и королевского правительства, королю, царю или императору; это особенно характерно для Европы в период абсолютизма или самодержавия. Во Франции до революции крестьяне встречали вступление на престол новых монархов взрывом подлинного энтузиазма, а во время бунтов их верность королю находила выражение в своеобразных двойных лозунгах вроде «Да здравствует король! Долой соляные подати!» в 1674 г. и «За короля и дешевый хлеб!» в 1775 г. Понадобилось целых два года революции и девять месяцев революционной войны, чтобы парижане, не говоря уже о французских крестьянах, восприняли казнь короля-предателя как необходимость. Хобсбом приводится пример из истории России XIX в., свидетельствующий о том, что вера крестьян в царя-батюшку долго не угасала, хотя царские министры ничего, кроме недоверия и ненависти, у них не вызывали.

«Врожденная» идеология сама по себе может поднять массы на забастовки, голодные бунты, крестьянские восстания (успешные или безрезультатные). Она может даже подвести народ к пониманию необходимости радикальных перемен, которое французские историки называют «осознанием», но совершенно очевидно, что она не может подвести их вплотную к революции ни в качестве ее творцов, ни даже в качестве младших союзников буржуазии. Эти пределы обозначены Томпсоном, когда он объясняет, каким образом «плебейская культура» Англии XVIII в. — «самообучающаяся культура народа, основанная на его опыте и духовных ресурсах», — хотя бы в некоторых отношениях помешала джентри распространить гегемонию на все области жизни. К творчеству масс, помешавших установлению этой гегемонии, он относит сохранение традиционных обычаев; небезуспешное сопротивление дисциплине труда, которую только начали вводить в промышленности в эпоху раннего капитализма; расширение сферы действия законов о бедных; улучшение снабжения населения хлебом, не говоря уже о том, что «никто не мог помешать народу слоняться по улицам городов, глазеть по сторонам, устраивать давку и сеять смуту. Плебеи, почитавшие себя чуть ли не свободными гражданами, с криками «ура» жгли дома ненавистных им лавочников и инаковерующих, демонстрируя бунтарский дух, поражавший заезжих иностранцев».¹¹

Однако все эти успехи низов в «доиндустриальной» Англии или в любой другой стране не могли бы получить дальнейшее развитие, если бы «плебейская культура», «врожденная» идеология масс не обогащались привнесенными извне элементами — политическими, философскими и религиозными идеями, которые она абсорбировала и перерабатывала с большими или меньшими искажениями. На историческом фоне того времени эти идеи были скорее прогрессивными, а не отсталыми, чаще реформистскими, чем реставрационными; в период, названный Робертом Палмером «демократической революцией» (имеется в виду XVIII в. — *Ред.*), массы получали их — иногда из вторых рук — от набравшей силу буржуазии — главного противника аристократии. Впрочем, в народные массы привносились и консервативные, реакционные представления, как, например, идеи, побудившие вандейских крестьян после 1793 г. восстать против революции «за церковь и короля»; неаполитанцев и римлян выступить против французов в 1798—1799 гг., а испанских крестьян — против Наполеона в 1808 г. Небезынтересно, что вандейские крестьяне сначала поддерживали революцию и выступили против якобинского Конвента лишь после того, как революция пошла по пути, явно не соответствовавшему их представлениям.

Как бы то ни было, а процесс слияния «врожденных» и «привнесенных» идей развивался постепенно и на разных уровнях: в самой примитивной форме он сводился к выдвиганию лозунгов типа «Смерть таможенным чиновникам!» и «Никаких налогов без представительства!» — «Долой американцев», «Долой акцизное управление!», «Долой папизм!» — у лондонцев XVIII в., «Да здравствует парламент!», «Да здравствует третье сословие!» — у парижских низов в канун революции или как одна из вариаций — к использованию разного рода символов и обрядов например, «папизм и деревянные башмаки», ритуальные деревья свободы или сожжение чучел, изображавши министров Георга III в предреволюционном Бостоне по примеру сожжения чучела папы римского. На более высоком уровне народный лексикон обогащался такими понятиями, как «патриот» (в трех названных странах) или (только во Франции) «общественный договор», «третье сословие» и «права человека». Последнее понятие вошло в политическую программу Французской революции — Декларацию прав человека и гражданина, принятую в августе 1789 г., и в более раннюю программу Американской революции — Декларацию независимости (1776 г.).

Новые идеи, естественно, проникали в народное сознание в разных странах различными путями, которые во многом определялись уровнем грамотности населения. Соответствующие более или менее надежные статистические данные в источниках того времени отсутствуют, а уровень грамотности, установленный путем подсчета подписей на брачных свидетельствах и полицейских протоколах, варьируется от страны к стране и даже от района к району. Однако научный анализ этих не слишком убедительных сведений позволит предположить, что в канун XVIII в. — «века революций» — процент грамотных среди рядовых американцев, чаще читавших Библию, был выше, чем среди английского простонародья, а у тех, в свою очередь выше, чем у французов (в Англии, как и в Америке, к тому времени почти не осталось крестьянского населения). По приблизительным подсчетам, в больших городах, таких, как Лондон и Париж (в Америке «больших» по тому времени городов не было вовсе), уровень грамотности среди населения достигал 40—50%; причем у чернорабочих он был ниже, чем у ремесленников, а у женщин — значительно ниже, чем в первых двух группах.¹² Таким образом, намного меньше 50% представителей парижских низов и лишь 6-7 из 10 ремесленников могли расписаться или прочитать революционные призывы в многочисленных брошюрах или рукописных журналах того времени. Работы Руссо знала образованная «элита»; простой читатель мог получить представление об их содержании только опосредованно и в упрощенном виде — из вторых, а то из третьих рук. Но знания, почерпнутые из книг, могли передаваться и иными способами: во французских провинциях в 1789 г., в больших и малых городах руководители

зачитывали сообщения из газет и сообщения о событиях в Версале и Париже с балкона местных ратуш. Еще более доходчивым средством информации были церковные проповеди, военные приказы или речи на собраниях пуритан — например, в Англии в 40-е гг. XVII в. Во Франции в 1789 г. ремесленники небольших мастерских — преобладающей форме предприятий того времени, — обсуждая текущие события дня, обычно узнавали от хозяина лозунги дня и новую терминологию. В Париже своеобразными народными клубами были винные погребки, рынки, бакалейные лавки. Здесь обсуждались животрепещущие проблемы, зарождались бунты и восстания.

Так или иначе, «привнесенные» понятия накладывались на «врожденные» понятия и убеждения; сплавом обоих этих элементов и являлась новая народная идеология. Естественно, этот процесс проходил в городах быстрее, чем в деревнях, и во время революций (из истории которых почерпнуты почти все приведенные выше примеры) быстрее, чем в периоды социального и политического затишья. Эта амальгама могла принять в ее окончательном виде характер идеологии боевой, революционной или, напротив, консервативной и контрреволюционной. Зависело это не столько от социальной природы реципиентов и «врожденных» представлений адресата, сколько от самих «привнесенных» идей, от которых они отталкивались, от характера полученных идей, восприятие которых определялось сложившейся обстановкой и тем, что Э.Р.Томпсон назвал «встряской опыта».¹³

Формирование народной идеологии определяется, следовательно, не двумя, а тремя факторами, являвшимися, как уже отмечалось, ее фундаментом; идеями, «привнесенными» извне, или внешним элементом, которые могли быть эффективно абсорбированными, если попадали на подготовленную почву; и наконец, обстоятельствами и опытом самих народных низов, которые в конечном счете определяли характер амальгамы. Только с учетом всех этих факторов можно попытаться, почему парижские санкюлоты остались верны революции, в то время как их собратья в Лионе, Марселе и других городах, имевшие в целом такие же «врожденные» убеждения и точно так же прошедшие через горнило революции, впоследствии под влиянием новых (жирондистских) идей отошли от нее; почему крестьяне в Вандее, чьи «врожденные» идеи и устремления были такими же, как и у крестьян других областей Франции, в условиях, сложившихся весной 1793 г., изменили своим изначальным революционным идеалам. Генезис народной идеологии — процесс весьма сложный. При любом раскладе «врожденные» представления настолько устойчивы, что новые, «привнесенные» идеи, как прогрессивные, так и реакционные, в процессе их передачи трансформируются. Это положение сохраняет силу не только для «доиндустриального» периода. Процесс выработки новых идей не сводится к механическому сложению двух элементов; последнее возможно только в тех редких случаях, когда «врожденная» идеология воспринимает новый элемент пассивно. Обычно же «привнесенные» идеи в процессе их передачи и адаптации народными низами, как, впрочем, и другими классами, претерпевают определенные изменения. Воздействие их в конечном счете определяется социальными нуждами и политическими целями тех классов, которые готовы их воспринять. Предметный урок такого рода преподали Мартину Лютеру в 20-х гг. XVI в. немецкие крестьяне, которые к его величайшему негодованию восприняли его учение буквально — как идейную основу восстания против князей, видя в них угнетателей, а отнюдь не благодетелей, как сам Лютер. Французская буржуазия, созревшая к концу 80-х гг. XVIII в. для революции, использовала учение Руссо о «народном суверенитете» и его понятие «общественного договора» в качестве идеологического оправдания своего восстания против аристократии и королевского деспотизма, тогда как много раньше французский аристократический парламент, а также венгерские и польские аристократы использовали идеи Руссо и Монтескье с целью поднять аристократический элемент на борьбу против короны. Французские

«низы», в частности парижские санкюлоты, усвоили свой урок: почерпнув новые революционные идеи у либерально настроенной части аристократии и буржуазии, они приспособили их для собственных нужд и при случае обращали их не без успеха против своих прежних наставников.

И еще один вопрос, который мы только затронем здесь: что происходило с новой народной идеологией, выкованной в пламени революции, после окончания «народной» фазы революции или после победы контрреволюции? Означало ли это, что после поражения, к примеру, английских левеллеров в Берфорде в 1649 г., парижских санкюлотов в 1795 г. и французских рабочих в июне 1848 г., политический опыт, накопленный ими в ходе революции, пропадал втуне и все предстояло начинать заново, готовясь к новому революционному периоду, неизменно наступавшему после определенной передышки? Конечно, нет. Сколь ни реальной оказывалась наступившая реакция, например протекторат Кромвеля и Реставрация в Англии или наполеоновская империя и Реставрация во Франции, народные революционные традиции не умирали: в глубоком подполье, вне поля зрения властей, они продолжали жить, возрождаясь в новых формах и в новых исторических условиях. К тому времени народные массы, переработавшие «привнесенные» идеи, успевали изменить свой облик.

* Имеется в виду догмат лютеранства и протестантизма в целом в противовес католическому догмату об оправдании «добрыми делами». — *Прим. ред.*

** «Улучшениями» называли огораживание лендлордами в прошлом открытых и общинных полей, приводивших к сгону с земли земледельцев, пользовавшихся ею на основании обычного права. — *Прим. ред.*

Ссылки на источники

1. Lewis O. The Culture of Poverty, *Scientific American*, CCXI (1966), p.19-25.

Ричард Хоггарт проводит примерно то же различие, анализируя положение современного рабочего класса; см. главу о «них» и о «нас» в: «Uses of Literacy» (London, 1957), p.72-101.

2. Hill C. The Norman Yoke, — в: «Democracy and the Labour Movement», под редакцией.

3. John Saville, London, 1954, p.11—16.

4. Raab Felix, The English Face of Machiavelli, London, 1964.

5. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.4, с.438.

6. Sewell William H. Критический разбор работы: Robert Bezucha. The Lyon Uprising of 1834 в *Social History*, 5: May, 1977, p.6188—689. Это не самый лучший пример, поскольку основные идеи лионских рабочих и хозяев небольших мастерских к тому времени, то есть к 1834, а не в 1831 г., претерпели некоторые изменения, и в частности приобрели политическую окраску под влиянием их связей с «Молодыми республиканцами» города.

7. См., в частности: Thompson E.P., The Moral Economy of English Crowd of the Eighteenth Century, *Past and Present*, № 50, May 1971, p.76-136.

8. См. также о непродолжительном движении кентских сельскохозяйственных рабочих в 1838 г., принявшем формы религиозного мессианизма в: Rogers P.G. Battle in Bossenden Wood, London 1961.

9. V o v e l l e M. Le tournant des mentalites en France 1750-1789: la "sensibilite" pre-revolutionnaire, *Social History*, 5, May 1977 p.605-629.

10. H o b s b a w m E. J. Primitive Rebels (Manchester, 1959) p. 29.

11. T h o m p s o n E. B. Eighteenth-Century English Society: Class Struggle Without Class? *Social History*, III (2), May 1978, p.137—165, особенно p.164—165.

12. Анализ уровня грамотности во Франции XVIII в. см. в: M o r n e t D. Les origines intellectuelles de la Revolution francaise, Paris 1933, p. 420—425; и (в Париже): Rude G., The Crowd in the French Revolution, Oxford, 1959, p.210—211. Об уровне грамотности в Англии XVIII в. см. ряд статей в: Past and Present, особенно следующие две статьи: Lawrence Stone. Literacy and Education in England, 1640—1900, № 42, February 1969, p.69—139; Sanderson Michael. Literacy and Social Mobility in the Industrial Revolution in England, № 56, August 1972, p.75—104. В обеих отмечается относительно высокий уровень грамотности среди неквалифицированных рабочих и прислуги в 1700—1750 гг. (около 40%), его резкое понижение в третьей четверти века и кратковременный подъем около 1775 г. Однако сколько-нибудь достоверных данных для Англии в целом до 1840 г. не имеется.

13. Приведем цитату полностью: «Эта культура (самодеятельная культура народа)... непрерывно входила в противоречие с официальными оценками действительности. Так, массы, участвовавшие в движении «за церковь и короля», могли превратиться в якобинцев или луддитов в результате «встряски, полученной на основании собственного опыта», или под влиянием «мятежных» пропагандистов». T h o m p s o n , Op.cit, p.164. Это примерно совпадает и с точкой зрения автора этой книги.

«ТОЛПА» В ИСТОРИИ: 1730-1848

Из книги «Народные низы в истории»

М., 1984. С.107-144

Веб-публикация: Eleonore и редакторы сайтов Vive Liberta и Век Просвещения ©

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

1. Политический бунт

Мы видели, что благодаря парламентам парижский простой люд получил первые политические уроки, в результате чего городские волнения, в отличие от деревенских, имели тенденцию превратиться в политические демонстрации. Это особенно относится к последним двум годам существования старого порядка, когда Парижский парламент, занятый последними спорами с министрами Людовика XVI, по возвращении в столицу из изгнания был восторженно и шумно встречен на острове Ситэ. Это было только начало. Толпы, собравшиеся, чтобы приветствовать парламент, состояли из студентов, клерков адвокатских контор и поденщиков из ряда различных округов. Полученные уроки все еще были элементарными и крайне поверхностными. Главное, они коснулись лишь населения города и не вызвали никакого отклика в деревне среди крестьян. Все изменилось с началом и в ходе революции. Бросив вызов «привилегированным» сословиям (включая парламенты), требуя контроля над Генеральными штатами 1789 г., буржуазия, или третье сословие, обращалась ко всей нации. Ее идеи и лозунги были подхвачены как деревенским, так и городским населением. Под влиянием этого продовольственный бунт в деревне и происходившие от случая к случаю политические демонстрации в городе превратились в великие народные жакерии, или события лета и осени 1789 г. Эти ранние «стихийные» выступления в свою очередь начали перерастать в более сложные политические движения городских санкюлотов. Они отражали интенсивность борьбы партий, накопление политического опыта и рост сознательности самих санкюлотов. Это был длительный процесс, и мы не пытаемся здесь подробно рассмотреть его¹. Наша задача в том, чтобы иллюстрировать переход бунта одного типа в бунт другого типа и указать главные этапы, на которых возникали и принимали определенную форму политические события*, наиболее характерные из всех форм участия народа в революции.

Парижский парламент, впервые бросивший вызов правительству во время «аристократического мятежа 1787 г.», быстро одержал победу и, проведя неделю или две в изгнании, получил разрешение возвратиться в Париж. Вернувшихся магистратов встречали шумными приветствиями на острове Ситэ, на площади Дофина, на улице Арле и вблизи зданий судов. Власти ожидали беспорядков, и суды были окружены 500 солдатами парижской полиции, которых поддерживали полки французской гвардии. Толпы, состоявшие из писцов Дворца правосудия, подмастерьев и поденщиков, занятых в мастерских Ситэ производством предметов роскоши, заполнили Новый мост и прилегающие улицы; они пускали шутихи и фейерверки и бросали в войска камни. 28 сентября, когда беспорядки усилились, войска открыли огонь. Потерь не было, только шальной пулей пробило одежду проходившего мимо адвоката. Четверо молодых людей были арестованы. Беспорядки длились неделю, в течение которой перед зданием суда жгли костры, распространяли антироялистские листовки и сжигали изображения бывшего генерального контролера финансов Калонна и гувернантки королевских детей графини де Полиньяк. 3 октября парламент сам положил конец беспорядкам, запретив собираться и жечь костры поблизости от здания суда. Эти события имели ограниченный и местный характер. Их основные участники - клерки адвокатских контор и поденщики Ситэ; предместья и рынки еще не были затронуты волнениями.

В следующие месяцы кризис углубился как из-за обострения политического напряжения, так и из-за повышения цен на хлеб. 15 мая популярность парламента увеличилась, когда он осудил ненавистные приказы об аресте (при помощи которых противников правительства заключали в тюрьму без суда) и всю систему правительственного произвола. Правительство ответило тем, что окружило здание суда войсками. По эдикту, составленному хранителем печати Ламуаньоном, большая часть юрисдикции парламента была передана другим судам, а непокорные магистраты были вновь изгнаны в провинции. Но поддержка, которую оказывали парламентам - в Париже и в других городах, - была так сильна, что министры были вынуждены смириться перед угрозой бури.

Премьер-министра Бриенна сняли с поста и заменили Неккером. Было обещано созвать в следующем году Генеральные штаты. Эдикт Ламуаньона был отменен, и вскоре после этого Парижский парламент был возвращен в столицу. Победа была отмечена празднествами в Ситэ: жгли большое число костров и шутих, а лиц, проезжавших в экипажах по Новому мосту, заставляли низко кланяться статуе Генриха IV, самого популярного французского короля, и кричать: «Долой Ламуаньона!», «Слава Генриху IV!»

На этот раз беспорядки приобрели новый и более серьезный характер: за три недели цена четырехфунтовой ковриги хлеба поднялась с 9 до 11 су, и в конце августа к клеркам из Дворца правосудия присоединился простой народ из предместий и рынков. Бунты стали более ожесточенными и охватили другие округа города; сторожевые будки по обе стороны Нового моста, связывающего Ситэ с городом, были разгромлены и сожжены дотла. Гвардии был отдан приказ применить силу; на северном берегу реки, на Гревской площади, 600 демонстрантов были обстреляны войсками, 7 или 8 человек были убиты, остальные обратились в бегство. Через две недели начались новые торжества в Ситэ и новые кровавые стычки между войсками и поденщиками и студентами. Они возникали в отдаленных районах - на улице Сен-Мартен на севере и в университетском квартале на юге. Было арестовано более 50 человек, но толпа одержала победу: и непопулярный Ламуаньон, и командующий парижской гвардией Дюбуа были уволены со своих постов еще до окончания волнений².

Таким образом, Парижский парламент добился успеха в борьбе с правительством. Он использовал энергию значительной части столичных санкюлотов и при их поддержке достиг немалых побед. По и этот союз, и эти успехи оказались кратковременными. Еще до окончания волнений парламент вызвал к себе враждебное отношение значительной части тех, кто его поддерживал, тем, что требовал сохранить состав Генеральных штатов таким же, каким он был 175 лет назад, то есть чтобы каждое сословие собиралось отдельно и имело равное представительство. Тогда третье сословие всегда должно было бы подчиняться голосам двух «привилегированных» сословий [духовенства и дворянства. - *Ред.*], которые задавали тон. Третье сословие, видя эту опасность, ответило войной памфлетов, которая в поразительно короткий срок полностью изменила положение парламента и обеспечила поддержку всей нацией целей третьего сословия - а именно его двойного представительства (вскоре правительство само согласилось на это требование) и слияния отдельных заседаний всех трех сословий в одно общее собрание. Большие надежды, возникшие даже в деревне в связи с перспективой созыва Генеральных штатов в таком составе, иллюстрирует встреча Артура Юнга** с одной крестьянкой из Шампани, которая сказала ему: «Говорят, будто что-то должно быть сделано какими-то важными людьми для бедняков [она не знала кем и как], но бог пошлет нам лучшие времена, ведь нас душат талья и всякие повинности»³.

Запись этого разговора в дневнике Юнга относится к 12 июля; но еще задолго до этого боевой лозунг третьего сословия, вызов, брошенный народом привилегиям, начал распространяться среди масс в Париже. Самый ранний пример этого я нашел в полицейских донесениях от начала апреля⁴. Две или три недели спустя этот лозунг был провозглашен во время народного бунта. Но тогда простой народ бунтовал главным образом ради достижения собственных целей и еще не проникся полностью целями буржуазных политиков третьего сословия. Такой была, например, кровавая стычка в Сент-Антуанском предместье, вскоре получившем известность как самое революционное из всех парижских предместий; она произошла в конце апреля, за неделю до открытия в Версале долгожданных Генеральных штатов. 23 апреля два владельца мануфактур, Ревейон и Анрио, оба видные члены местного третьего сословия, выразили каждый в своем собрании избирателей сожаление по поводу высокой заработной платы в промышленности. Неизвестно, выступали ли они за снижение заработной платы (о них отзывались как о хороших хозяевах), но их слова, сказанные в тот момент, когда цена хлеба была особенно высокой***, вызвали сильнейшие волнения. 500 или 600 рабочих собрались около Бастилии и с чучелами Ревейона (самого главного виновника) и второй намеченной ими жертвы двинулись по улицам столицы. К ним присоединились рабочие доков, мануфактур и мастерских; в результате около 2 тыс. человек пришли на Гревскую площадь к зданию ратуши. Обнаружив, что дом Ревейона оцеплен королевским хорватским полком, они напали на дом Анрио и, подобно участникам Гордонова мятежа в Англии, уничтожили мебель и личные вещи Анрио. Разогнанные войсками, на следующее утро они появились вновь; пока не прибыли войска, группы рабочих ходили по улицам, вербуя новых сторонников путем запугивания либо убеждения. Между шестью и восемью часами вечера наступил самый острый момент, когда толпа штурмовала дом Ревейона. Гвардия королевских хорватов была оттеснена, а разрушения, произведенные накануне, повторились в еще большем масштабе. Командующий французской гвардией герцог дю Шатле отдал приказ открыть огонь, и на узких и тесных улицах началась бойня. Тысячи людей облепили крыши и окна, в то время как толпа сражалась с криками «Свобода! Мы не сдадимся!». Некоторые кричали: «Да здравствует третье сословие!», «Да здравствуют король и Неккер!» Таким образом, новые «патриотические» лозунги дня, странно не соответствовавшие поведению бунтующих, были уже усвоены простым народом Парижа и в случае надобности могли быть использованы в его

интересах⁵.

Итак, действия парижских санкюлотов пока еще не находились в полном соответствии с действиями революционной буржуазии. Несомненно, последняя надеялась осуществить свои планы, не прибегая к рискованному средству призвать на помощь массы. Однако ее надежда не оправдалась из-за упорного отказа аристократии пойти на уступки, а также из-за колебаний короля. Под нажимом королевы и своего младшего брата, графа д'Артуа, король решил вызвать войска, распустить только что сформированное Национальное собрание, внушить страх Парижу и заменить Неккера, проводившего слишком мягкую политику по отношению к делу «патриотов», Бретейем, ставленником Марии-Антуанетты. Известие об отставке Неккера, полученное в полдень 12 июля, послужило сигналом к народной революции в столице. Толпы, собравшиеся в садах Пале-Рояля, резиденции популярного герцога Орлеанского, слушали Камилла Демулена и других ораторов, призывавших взяться за оружие. Образовались группы, двинувшиеся по бульварам с бюстами героев момента, Неккера и герцога Орлеанского. Театры в знак траура были закрыты. Командир парижского гарнизона Безанваль отступил на Марсово поле и оставил столицу в руках народа. Прежде всего следовало уничтожить ненавистные заставы (или окружавшие город таможенные посты), на которых взимали пошлины на съестные припасы и вино, что сильно било по карману мелких потребителей. За четыре дня восстания, руководимого из Пале-Рояля, от 40 до 54 постов были методически разрушены. Толпа ворвалась в монастырь братства Сен-Лазар, разграбила его, искала в нем оружие и зерно и освободила находившихся там заключенных. В поисках мушкетов, сабель и пистолетов были совершены нападения на другие церковные здания и оружейные мастерские. По рассказам очевидца, работавшего у торговца сальными свечами⁶, по улицам всю ночь ходили толпы штатских и недовольных властями военных. Они выкрикивали только что выученные «патриотические» лозунги, били в набат и искали зерно и оружие. Между тем парижские выборщики от третьего сословия, которые образовали в ратуше временное муниципальное правительство, сильно встревоженные оборотом дела, начали вербовку в гражданскую милицию или национальную гвардию в целях охраны столицы как от мятежных бедняков, так и от угрозы из [резиденции короля] Версаля.

Итак, поиски оружия и военного снаряжения продолжались. Именно поиски оружия гораздо больше, чем освобождение заключенных и даже чем сведение старых счетов с ненавистным символом прошлого, побудили парижан 14 июля штурмовать древнюю крепость Бастилию. У восставших не хватало оружия, а было известно, что его запасы были недавно доставлены в Бастилию из арсенала. Кроме того, носились упорные слухи о готовящемся нападении из Версаля, в то время как пушки Бастилии были грозно направлены на густо населенные дома квартала Сент-Антуан. И вот, после того как из Дома инвалидов, на другой стороне реки, взяли 30 тыс. мушкетов, раздался крик «На Бастилию!». Осаду, или, скорее, переговоры с комендантом Бастилии маркизом Делонэ вел, неумело и неуверенно, Комитет выборщиков, собравшийся в ратуше; однако инициатива взять крепость штурмом, когда мирные переговоры оказались безрезультатными, принадлежала не комитету, а вооруженным горожанам, толпившимся под ее стенами. Из пушек Бастилии уже было убито и ранено 150 человек, когда бывший сержант Юлен двинулся во главе двух отрядов французской гвардии, только что примкнувшей к восстанию, к главным воротам и, поддержанный несколькими сотнями вооруженных горожан, приготовился к прямому штурму. Делонэ под давлением своего гарнизона приказал опустить главный подъемный мост, и падение Бастилии стало кульминационным пунктом первого великого народного акта революции.

Взятие Бастилии, отнюдь не явившееся боевым подвигом большой важности, имело огромные политические результаты. Национальное собрание было спасено и получило признание короля. В столице власть перешла к Комитету выборщиков, составившему Городской совет (Коммуну), который возглавил в качестве мэра Байи. 17 июля король лично прибыл в Париж в сопровождении 50 депутатов и был вынужден надеть красно-бело-синюю кокарду революции. Большая часть всего совершившегося была результатом действий парижских масс, среди которых главную роль играли санкюлоты. Однако революция еще не была вне опасности, и июльские завоевания пришлось отстаивать в октябре. Пока двор и король оставались в Версале и активное меньшинство депутатов в союзе с двором могло сорвать конституционную программу Собрания (а эта его способность стала более чем очевидной в августе и сентябре), действительная власть все еще оставалась разделенной между старым третьим сословием и его союзниками из либеральной аристократии и сторонниками старого порядка. Уступая давлению остатков старой придворной партии, король попытался выйти из тупика, вновь применив силу и вызвав в Версаль войска, на этот раз Фландрский полк. На устроенном в его честь банкете национальную кокарду топтали ногами (по крайней мере так передавали в Париже). Чтобы отомстить за это оскорбление, парижские «патриоты» призвали к походу на Версаль либо для предъявления ультиматума, либо для того, чтобы перевезти королевскую семью в Париж. Тем временем возник новый кризис в снабжении хлебом, и 5 октября продовольственный бунт разъяренных рыночных торговцев

превратился в великий женский поход, поддержанный батальонами национальной гвардии и с триумфом возвративший в Париж короля, за которым вскоре последовало и Национальное собрание. Так вторично в течение нескольких недель парижский простой люд пришел на помощь Национальному собранию и спас революцию⁷.

1789 год был не только годом городских бунтов и революций. В деревне также происходили волнения. И здесь тоже бунты изменили свою форму. После хлебных бунтов 1775 г. деревня оставалась относительно спокойной. Разумеется, как обычно, произошло несколько хлебных бунтов: в Тулузе и Гренобле в 1778 г., в Байё в 1784 г. и в Ренне в 1785 г.; но это были отдельные и спорадические случаи. До зимы 1788-1789 гг. в деревне не существовало всеобщего движения протеста. Затем оно возникло в ответ на двойной кризис. С одной стороны, в 1787 и 1788 гг. был сильный недород, вызвавший скачок цен вверх во всех главных зерновых районах. С другой стороны, под давлением «аристократического мятежа» правительство призвало провинциальные штаты собраться и готовилось созвать выборщиков (подавляющее большинство которых составляли крестьяне), чтобы они составили свои наказы во всех районах Франции. Реакция крестьян прежде всего приняла традиционную форму возмущения против недостатка продовольствия и роста цен. Начавшись в декабре 1782 г., оно выразилось в нападениях на баржи с зерном и на зернохранилища, па сборщиков таможенных пошлин, купцов и зажиточных сельских холлов; в волнениях у ратуш, булочных и на рынках; в народной таксации хлеба и пшеницы и в широко распространившемся уничтожении собственности. Сообщения о таких действиях поступали почти из всех провинций: в декабре и январе - из Бретани и Турени; в марте и апреле - из Бургундии и Иль-де-Франса, Лангедока, Ниверне, Орлеана, Пикардии, Пуату, Прованса и Турени; в июле - из Нормандии и Шампани. К северу от Парижа борьба с голодом превратилась в движение против законов об охране дичи и праве охоты дворянства, впервые за много лет. В поместьях принца де Конти в Понтуазе и Бомоне (в местах бунтов 1775 г.) в Конфлане, Сент-Онорине и в других деревнях крестьяне ставили капканы для кроликов****, которые наводняли их поля, что приводило к столкновениям с деревенской полицией. В Артуа крестьяне нескольких деревень объединились, чтобы уничтожить дичь, принадлежавшую графу Уази, и отказались платить ему обычные повинности. К югу и западу от Парижа, около Фонтенбло и Сен-Жермена, у жителей целых приходов было отобрано оружие в связи с тем, что их подозревали в браконьерстве в королевских лесах. В Лотарингии и Эно безземельные крестьяне и мелкие землевладельцы присоединились к силам, выступавшим против расчищения лесных зарослей и огораживания полей. Тем временем почти в течение века копившееся озлобление крестьян против королевских налогов и сеньориальных повинностей прорвалось в марте в Провансе, в апреле - в Гане и в мае - в Камбрези и Пикардии⁸.

Под влиянием экономического кризиса и политических событий формы крестьянского движения менялись, от прежних протестов против высоких цен оно перерастало в возмущение против огораживаний, дворянских привилегий охоты и королевских заповедных лесов и превращалось в прямую атаку на феодальные земельные порядки. Это не было чисто стихийным развитием. Отчасти это движение выросло из странного явления, известного как «великий страх» и относившегося к концу лета 1789 г. Истоками «великого страха» служило бродяжничество сельских жителей, порожденное экономическим кризисом; разброд в королевских войсках после победы народа в Париже и глубоко укоренившаяся уверенность крестьян, разделяемая многими горожанами, в существовании «аристократического заговора». Росло убеждение, что «разбойники», независимо от того, были ли они деревенскими бедняками или убежавшими солдатами, вооружались с целью опустошения деревни и уничтожения крестьянской собственности. Так же как во время волнений 1775 г., такие слухи распространялись на рынках, и в июле-августе волнения охватили деревни во всех провинциях, кроме Бретани на севере и Эльзаса и Лотарингии на востоке. Вооруженные крестьяне ждали «разбойников». Но последние - плод паники и возбужденного воображения - так и не появились, и крестьяне многих районов, обманувшись в своих ожиданиях, направили оружие против феодальных поместий. В замках не только жили сеньоры (большей частью оставшиеся невредимыми), но и хранились манориальные документы, где были записаны феодальные ренты и повинности, причем многие из них были недавно придуманы или восстановлены; они ложились тяжким бременем на мелких собственников. Крестьяне, озлобленные вековыми притеснениями сеньоров, ответили на призыв третьего сословия тем, что устроили свою собственную революцию. Они сжигали замки во всех районах Франции, и их движение быстро дало результаты. Национальное собрание 4 и 5 августа издало декреты, отменявшие или обязывавшие выкупать все сеньориальные повинности, касавшиеся обработки земли. Там, где эти повинности были заменены денежными платежами, крестьяне отказывались платить. Спустя три года якобинское правительство признало совершившийся факт и аннулировало крестьянский долг⁹.

Крестьянская революция не затухала в деревне в течение всех революционных лет. Но обычно она сводилась к продовольственным бунтам или к уничтожению изгородей и так и не приобрела прежнего размаха и силы. В Париже, как и в других городах, положение было совсем иное. Крупные выступления в 1789 г., хотя и имевшие большие последствия, явились лишь началом. Ознакомление санкюлотов с новыми политическими идеями революции только началось. Стали создаваться клубы и «братские» общества, которые после 1790 г. открыли свои двери наемным рабочим и ремесленникам. Таким путем идеи демократов и позднее республиканцев распространялись среди простого люда из предместий и на рынках. Одним из первых результатов ознакомления народа с политическими идеями было многолюдное собрание и подписание петиции на Марсовом поле в июле 1791 г., требовавшей отречения короля после его злополучного бегства в Варенн и учреждения новой «исполнительной власти». Среди многих тысяч подписей большинство составляли подписи санкюлотов; и нам известно из других источников, что многие из них превосходно понимали, о чем говорилось в петиции. Санкюлоты составляли также большую часть участников демонстрации, собравшихся от каждого района столицы. Во время этой демонстрации 50 человек были убиты и 12 ранены национальной гвардией Лафайета.

Это «побоище», как и война, начавшаяся девять месяцев спустя, углубили разногласия среди «патриотов»; и санкюлоты, допущенные в июле 1792 г. на собрания секций, все более подпадали под влияние якобинцев. Именно они составили план и руководили вооруженным нападением на Тюильри в августе 1792 г., покончившим с монархией и приведшим к провозглашению республики. Это было осуществлено регулярными батальонами национальной гвардии, состоявшими главным образом из парижских лавочников, ремесленников и поденщиков. Те же силы якобинцы использовали в июне 1793 г., на этот раз руководимые генералом-санкюлотом Анрио, чтобы исключить своих противников-жирондистов из Национального конвента¹⁰. В результате постепенного усвоения политических идей и приобретения опыта благодаря посещению собраний секций, обществ и комитетов, службе в национальной гвардии и в революционной армии, сформированной для обеспечения снабжения города продовольствием¹¹, среди санкюлотов появлялись обученные бойцы и вожаки. Они отнюдь не были послушными агентами якобинцев или какой-либо другой партии. У них были свои собственные социальные стремления, взгляды, свои клубы и лозунги и свои собственные идеи о том, как надо управлять страной¹². Поскольку дело обстояло именно так, политический бунт, если к нему вновь следовало прибегнуть, неизбежно должен был изменить форму.

Этот процесс достиг наибольшей силы во время крупного народного восстания в прериае III года (20-23 мая 1795 г.). В это время санкюлоты, разъединенные внутренними разногласиями и недовольные политикой якобинского правительства, не оказали решительного сопротивления свержению Робеспьера в июле 1794 г. Но последовавшая затем инфляция, сопровождавшаяся закрытием еще остававшихся революционных клубов и преследованием бывших «террористов» и «патриотов», постепенно заставила их начать действовать. Первая стычка произошла 12 жерминаля (1 апреля 1795 г.), когда здание Национального конвента заполнила толпа разгневанных мужчин и женщин, требовавших хлеба и прикрепивших к своим головным уборам лозунг восставших «Хлеб и конституция 1793 г.!»*****. Эта толпа, получив словесную поддержку от немногих еще оставшихся в Собрании якобинских депутатов, вскоре была изгнана отрядами национальной гвардии, и движение временно затихло.

 **Vive Liberta**

Но продовольственное положение продолжало ухудшаться, и недовольство людей на улицах и рынках, а также среди активистов в секциях становилось все более явным. 1 прериаля (20 мая) произошел новый взрыв, имевший гораздо более острый и опасный характер. На этот раз, так же как в октябре 1789 г., движением руководили женщины, побуждавшие мужчин к действию. Как и в октябре, все началось с волнений у булочных, закончившихся походом к зданию Собрания. Это были одновременно военная и политическая демонстрации, достигшие большей политической зрелости, чем выступление в 1789 г. В октябре женщины по дороге в Версаль пели: «Заберем булочника, его жену и его сынишку!» Таким образом, тогда политическая направленность, хотя и явная, если судить по ее результатам, не была ясно выражена. В мае же 1795 г. люди несли прикрепленные к шляпам и к блузам политические лозунги и ставили перед собой вполне определенные политические цели - освобождение политических заключенных, восстановление в Париже Коммуны, упраздненной после падения Робеспьера, введение в действие конституции 1793 г. и восстановление контроля над ценами и продовольственным снабжением. В отличие от участников событий 1789-1793 гг. они не получали от революционных вождей или каких-либо групп извне распоряжений выступать. Они действовали по собственному побуждению под своими собственными знаменами и лозунгами. Это была фактически первая и последняя политическая демонстрация, устроенная и проведенная самими санкюлотами.

Однако они потерпели полное и позорное поражение и подверглись суровым репрессиям. Так же как и в апреле, их выгнали из здания Собрании; но они перегруппировали свои силы в центре восстания - Сент-Антуанском предместье и на следующий день после полудня двинулись в Конвент, имея поддержку 20 тыс. национальных гвардейцев. Однако впервые за всю революцию против них была брошена верная правительству регулярная армия. Во избежание бойни обе стороны согласились вступить в переговоры. Успокоенные лживым обещанием, восставшие разошлись по своим секциям. На следующий день Сент-Антуанское предместье было окружено войсками, а на четвертый день восстания его участники сдались, не сделав ни одного выстрела. За поражением последовали репрессии и проскрипции. Военный суд приговорил 36 повстанцев к казни, 37 - к тюремному заключению или ссылке, около 1200 предполагаемых «террористов» (не все они являлись участниками восстания) были арестованы, а 1700 - разоружены в течение недели; позднее также поступили и со многими другими¹³.

Так сразу прекратилось обезглавленное движение санкюлотов. Подобно цветку кактуса, погибающему в самом расцвете, оно так никогда и не возродилось. Последнее восстание произошло в октябре, но на этот раз санкюлоты были лишь пассивными наблюдателями, а участвовали в нем гражданские служащие, адвокаты, клерки, лавочники и армейские офицеры из роялистских или близких к роялизму секций¹⁴.

После этого армия, призванная Конвентом, оставалась наготове, и на протяжении 35 лет не происходило ни выступлений революционных толп, ни бунтов.

Ссылки на источники

1. См. мою работу «The Crowd in the French Revolution» (Oxford, 1959).
2. Ibid., p. 28-33.
3. *Young Arthur*. Travels in France and Italy (Everyman Library, London, 1915), p.1159.
4. Archives Nationales, Y 187612 (April 12, 1789).
5. См. «The Crowd in the French Revolution», p.34-44.
6. Archives Nationales, Z² 4691.
7. Об этих двух эпизодах см.: «The Crowd in the French Revolution», p.47-79.
8. См. мою статью: «The Outbreak of the French Revolution», *Past and Present*, November, 11955, p.28-42.
9. *Lefebvre G.* The Great Fear of 1789 (London, 1973), and «La Revolution Francaise et les paysans», в: *Etudes sur la Revolution francaise* (Paris, 1954), p.246-268.
10. См.: «The Crowd in the French Revolution», p.80-94, 101- 108, 121-126.
11. *Cobb R. C.* Les armees revolutionnaires (2 vols. Paris and The Hague, 1961-1963).
12. *Собуль А.* Парижские санкюлоты во время якобинской диктатуры. М., 1966.
13. О событиях жерминаля-прериала см.: *Tonnesson K.* La defaite des sans-culottes (Oslo and Paris, 1959).
14. См.: «The Crowd in the French Revolution», p.100-177.

Примечания переводчика

* Наиболее важными из этих революционных событий были: в 1789 г. ночной бунт (28-29 апреля), революция в Париже и взятие Бастилии (12-14 июля), поход на Версаль (5-6 октября); в 1791 г. поход на Венсенн (28 февраля), демонстрация на Марсовом поле и петиция (17 июля); в 1792 г. захват Тюильри (20 июня), свержение монархии (10 августа), сентябрьские избиения (2-4 сентября) ; в 1793 г. исключение депутатов-жирондистов (31 мая - 2 июня), восстание 4-5 сентября; в 1794 г. падение Робеспьера (9 термидора - 27 июля); в 1795 г. народные восстания в жерминале (1 апреля) и 1-4 прериала (20-23 мая), роялистский мятеж 13 вандемьера (5 октября).

** Английский экономист и агроном, путешествовавший в это время по Франции. - *Прим. ред.*

*** Цена четырехфунтовой ковриги хлеба с февраля равнялась 14,5 су.

**** Содержание «кроличьих садков» - одна из дворянских привилегий.

***** Это была демократическая конституция, которую ее авторы-якобинцы «временно» отложили, а их преемники отменили в сентябре 1795 г.

2. Продовольственный бунт

Одной из крупнейших задач Французской революции было снабжение населения дешевыми съестными припасами. Как и на протяжении всего XVIII в., это постоянно заботило мелких потребителей города и деревни, многие из которых, как видно из предыдущей главы, играли значительную роль в политических восстаниях и демонстрациях. Поэтому неудивительно, что с событиями явно политического характера так часто была связана продовольственная проблема. Мы видели, что в сентябре 1788 г., когда парижане праздновали вторичное возвращение парламента, резкое повышение цен на хлеб изменило характер и масштаб волнений. В апреле следующего года бунты в предместье Сент-Антуан, спровоцированные Ревейоном, в равной мере были вызваны и высокими ценами на хлеб, и наступлением владельцев мануфактур на заработную плату. Действительно, были разгромлены одни лишь продовольственные лавки, и даже лейтенант полиции полагал, что у восставших была двоякая цель - свести счеты с Ревейоном и заставить власти снизить цену на хлеб. Продовольственная проблема также сыграла свою роль в событиях, приведших к взятию Бастилии. Среди напавших в ночь на 12 июля на монастырь Сен-Лазар некоторые говорили, что они «ищут хлеб»; а у застав слышали, как какой-то слесарь, разрушая таможенный пост, сказал: «Мы будем пить вино ценой в три су за литр».

В октябре эта проблема стала еще более очевидной. Хлебные бунты у булочных и ратуши вылились в поход женщин в Версаль; и Барнав, один из самых наблюдательных людей среди революционных лидеров, сообщая своим избирателям об этом событии, подчеркнул двойственный характер этих бунтов. Он писал, что буржуазия и «народ» выступали за общее дело; но в то время как первая действовала исключительно с целью расстроить заговоры аристократии, второй в равной мере был заинтересован в цене хлеба. Это же можно было наблюдать и во время последних народных волнений 1795 г., когда восставшие прикалывали к своим шляпам девиз: «Хлеб и конституция 1793 г.» Фактически из всех крупных революционных событий, разыгравшихся в столице, только в одном цена на продовольствие или снабжение им не играли никакой роли; это была демонстрация 17 июля 1791 г., когда парижане собрались на Марсовом поле, чтобы подписать петицию, требовавшую отречения короля¹.

Итак, если продовольственный бунт скрытно присутствовал в столь многих политических демонстрациях, то не приходится удивляться, что при случае он вспыхивал открыто. Это могло случиться по тем же причинам, что и до революции, когда не хватало запасов продовольствия и цены были необычно высокими. По отмеченным уже нами причинам, именно так произошло в 1789 г. Мы наблюдали увеличение числа продовольственных бунтов, о которых сообщалось из разных районов страны еще до того, как крестьяне в конце июля сосредоточили свое внимание на замках и сеньориальных архивах. Не остались в стороне и провинциальные города, и мы знаем о продовольственных бунтах, часто сопровождавшихся установлением народного контроля над ценами в таких далеко отстоящих один от другого городах, как Амьен, Бордо, Кан, Шартр, Гренобль, Марсель, Орлеан, Нант и Реймс². В Париже, где на ежедневную покупку хлеба в 1789 г. уходила значительная и все возрастающая часть заработка рабочего и ремесленника³, происходило бы то же самое, если бы народный гнев так часто не направлялся в русло политики. Ярким примером тому был октябрь 1789 г. **ТОПЛА» В ИС**

Революционные власти ликвидировали в ноябре 1789 г. хлебный кризис, унаследованный от старого порядка, и следующие полтора года были периодом сравнительного социального спокойствия. Но это был скорее результат везения, нежели продуманных действий, поскольку революционные власти не имели разработанных мер для решения подобных проблем, и последние неизбежно должны были возникнуть вновь. Это объяснялось отчасти плохими урожаями, отчасти обесценившимися бумажными деньгами (ассигнатами) и (еще более) - после апреля 1792 г. - безудержной инфляцией военного времени, которую была бессильна остановить господствующая доктрина экономической свободы. Сочетание этих факторов вызвало в 1792 г. новые большие нехватки продовольствия и новую большую волну бунтов. В августе 1791 г. в результате недостатка муки в Париже произошло быстрое повышение цены на хлеб, а в ноябре в нескольких зерновых районах на севере и на западе начались волнения, приведшие к прекращению вывоза зерна в другие части страны. Поскольку особенно резко цены повысились на пшеницу (в Париже немногим более чем на 25%, а в провинциях - в среднем на 40%), бунты вспыхнули по всей стране. По размаху и интенсивности их можно сравнить с бунтами 1789 г.⁴

Нигде эти волнения не достигли такого размаха и распространения, как на обширной хлебной равнине Бос, которая с Шартром, расположенным в ее центральной части, лежит между Сеной и Луарой⁵. Причиной беды был не столько плохой урожай, сколько пустота на рынках, образовавшаяся в результате действий крупных производителей, припрятававших зерно, либо продававших его непосредственно парижским торговцам, которые в свою очередь снабжали

тяжело пострадавшие южные районы либо накапливали запасы в ожидании более высоких цен. Движение началось среди бедняков лесорубов, гвоздильщиков и кузнецов, работавших в лесах кантонов Конш и Бретей в долине реки Эр. Оно росло как снежный ком, начатое несколькими гвоздильщиками в Бо-де-Бретей, к которым па их пути к расположенному по соседству рынку Лир присоединялось все местное население, причем мэр, хотя и предупрежденный о происходящем, ничего не сделал, чтобы их остановить. Покинув Лир, где к гвоздильщикам присоединились еще 400 человек, они отправились на рынок в Ла-Бар, а в последующие дни - в Небур, Конш, Верней, Бретей и Рюль, на все рынки, расположенные невдалеке от леса. Они шли колонной в полном порядке, с развевающимися флагами под барабанную дробь и собирали по пути подкрепления. Имеются сведения, что в Небуре в шествии будто бы участвовало население двадцати пяти приходов. Местная национальная гвардия, часто сама состоявшая из крестьян-бедняков, не делала никаких попыток их остановить. В Конше гвардия и муниципальные чиновники вышли к ним навстречу и с готовностью установили потолок цен на пшеницу и овес. То же самое произошло в Бретей и на других рынках; теперь первоначальная группа выступивших удвоилась, и вскоре установление цен не ограничивалось хлебом и зерном; оно было распространено па яйца и масло и даже на дрова, уголь и железо, ибо многие из этих сельских жителей были и деревенскими ремесленниками. В начале марта не менее 5 тыс. человек в одном случае и 8 тыс. в другом явились в кузницы Бодуэна и Луша, чтобы заставить хозяев продавать железо по пониженной цене. Сообщая об этом, власти главного города района Эврё отметили, что предъявление требования таких мер не могло быть придумано этим «множеством грубых и невежественных людей», и было ясно, что ими руководила «невидимая рука». Бунтовщики, как сообщали власти, навязав контроль цен на продовольствие, добивались уменьшения арендной платы в деревне и отмены налогов. «Они везде призывали к анархии и гражданской войне». Но движение, даже если оно преследовало более широкие социальные цели, охватило исключительно лесные округа вокруг Конша и Бретей. И именно тогда, когда движение могло распространиться на север к Эврё, на десять или пятнадцать миль дальше, оно начало терять поддержку и было легко подавлено жандармерией и милицией. К середине марта оно окончательно прекратилось, и 63 его участника ждали суда в тюрьме Эврё.

Тем временем другой центр волнений возник на юге, в соседнем департаменте Эр-и-Луара. Начавшись в феврале близ Шартра в Ла-Лупе и Шатонёфе, бунты распространились в соседние округа и города с рынками и достигли в восточном направлении департамента Сена-и-Уаза. 8 марта власти Шартра уведомили Национальное собрание, что «враги закона и порядка появились на рынках, в Ментеноне и Эперноне и готовятся создать беспорядки на рынках в Шатонёфе, Брезоле, Ла-Лупе, Сенонше и Ножан-ле-Руа».

Переходившие с места на место группы вновь призывали сельских жителей к действиям, звоня в церковные колокола, и устанавливали контроль над рыночными ценами; однако на этот раз они являлись на фермы и для того, чтобы проверить запасы фермеров, и иногда даже заставляли их повышать жалованье своим работникам. Вскоре волнения начались в городах с рынками департамента Сена-и-Уаза, многие из которых снабжали Париж и были ареной бунтов 1775 г.: Дурдане (19 февраля и вновь 3, 10 и 24 марта), Лимури, Моитлсри, Этампе, Сент-Арно и Рамбуйе. Первая попытка достичь Версаля из Лимура оказалась безуспешной. 4 марта мэр Этампа Симоно (богатый дубильщик в округе) вызвал войска, чтобы остановить вторжение, и был убит на рынке. Неделью спустя в большом городе с рынком, Мелене, расположенном по другую сторону границы департамента Сена-и-Марна, собралось 10 тыс. вооруженных вилами сельских жителей со знаменами и барабанами. Жители города тоже вооружились, но по достигнутому соглашению обе стороны сложила оружие, и цена одного сетье пшеницы была снижена с 30 до 20 франков. Хотя первое сильное движение па равнине Бос пошло в апреле на убыль, подспудно оно продолжалось до осени. Затем движение распространилось на Версаль; произошли вспышки в Дурдапе и Лимури; и, подобно Этампу, Орлеан стал ареной кровавого столкновения, во время которого один торговец был растерзан, а несколько участников бунта застрелены. После этого Национальное собрание без особого энтузиазма частично восстановило правила, существовавшие при старом порядке; но оно ничего не сделало, чтобы снабдить рынки в Босе. И в ноябре возникло новое, более широкое движение, охватившее в течение трех, недель восемь департаментов. На этот раз движение началось к востоку от Ле-Мана, в сельском департаменте Сарта, в лесистой местности вокруг Вибрэ и Монмирай. Первоначальное руководство вновь взяли на себя лесорубы, деревенские ремесленники и рабочие стекольной мануфактуры Ле-Плеси-Дорен. На третьей и четвертой неделе ноября они совершили вооруженные нападения на местные рынки. Отсюда деревенские жители, иногда группами численностью от 5 до 10 тыс. человек, расходились веером по всем направлениям. На востоке они дошли до Шатодена, где призванная к оружию национальная гвардия была бессильна оказать им сопротивление. На севере они достигли Шартра, пройдя 21

ноября через Бру. Однако в Шартре власти получили передышку, дав обещание (и честно исполнив его) вмешаться и обратиться от их имени к Собранию. На северо-западе от Шартра они вновь подняли сельских жителей лесистой местности, откуда ранее началось движение, и вновь установили ослабевший после марта контроль над цепами па рынках в Ла-Лупе, Сенонше, Шато-Нёф-ан-Тимерэ, Верней и Брезоле. Повернув опять на восток через город с рынком Курвиль, второй отряд численностью в 10 тыс. человек появился 1 декабря в Шартре. На этот раз участники бунта были разоружены и рассеяны, так как предупрежденные заранее муниципальные чиновники мобилизовали национальную гвардию и вызвали войска.

Но в других местах волонтеры и национальная гвардия, отнюдь не действуя как сила закона и порядка, присоединялись к восставшим, оказывали им поддержку в распространяли их обращения. В Ла-Фертэ-Бернаре, к северу от Вибрэ, 200 национальных волонтеров находились среди тех, кто приветствовал вторгшихся сельских жителей и помог им снизить цены на рынке. Отсюда группы восставших направились на запад, в департамент Сарта, где к ним присоединились батальоны национальной гвардии Ле-Мана и Ножан-ле-Ротру. В Ножане бунтующие прикрепили к шляпам дубовые листья и танцевали вокруг «дерева свободы» с криками «Да здравствует нация!», «Цена на пшеницу понижена!». Вместе со своими новыми союзниками они были в состоянии терроризировать местные власти во многих городках и подчинить их себе. В Шато-дю-Луаре они даже убедили их снизить цену на зерно на соседнем рынке. Движение распространялось дальше: на север, в департамент Орн, и на юг, в департаменты Луар-и-Шер и Эндр-и-Луара, откуда через Вандом оно распространилось веером вдоль северного берега реки. Блуа и Амбуаз, где не было национальной гвардии, приняли условия бунтовщиков; но из Тура их выгнали так же, как и из расположенных севернее Сабле и Ла-Флеша. В Сабле они оставили в руках войск 200 пленных. И с этого времени (был конец ноября) местные власти, вызывая национальную гвардию из других департаментов, начали одерживать верх. Мелкие вспышки продолжались еще в течение нескольких недель, но в целом движение утратило силу, и в начале декабря мир и порядок были восстановлены.

Тем временем Париж переживал кризис и продовольственный бунт иного типа. Как и в провинциях, причиной его было обесценение ассигната; его стоимость в январе 1792 г. составляла 65% стоимости в 1790 г. Однако непосредственной причиной волнений была не цена хлеба или муки, а недостаток сахара и других колониальных товаров, возникший вследствие гражданской войны, вспыхнувшей в Вест-Индии между плантаторами и местным населением. В январе цена сахара почти утроилась, за несколько дней она повысилась с 22-25 су за фунт до 3-3,5 ливра. Бунты вспыхнули в предместьях Сент-Антуан, Сен-Марсель и Сен-Дени и в центральных торговых районах. Бунтующие, полагая (с некоторым основанием), что истинной причиной недостатка сахара было придерживание купцами поставок в расчете на более высокие цены и что беспорядки в колониях были в такой же мере предлогом, как и причиной, ворвались в лавки и склады некоторых крупных оптовых поставщиков и торговцев и потребовали, чтобы сахар продавался по прежней цене; в некоторых районах они потребовали снизить цены на хлеб, мясо, вино и другие товары. Волнения начались 20 января в секции Бобур с бунта, поднятого женщинами на рынке, и через несколько дней распространились на Сент-Антуанское предместье, где нескольких бакалейщиков заставили продавать сахар по низкой цене. Вторая волна бунтов поднялась в феврале. 14 февраля на одной только улице Сент-Антуанского предместья более чем 20 бакалейщикам грозили захватом их лавок, и многие из них были вынуждены продавать сахар по 20 су за фунт, прежде чем порядок был восстановлен. В тот же день в предместье Сен-Марсель прошел слух, что большие запасы сахара, долго накапливавшиеся в одном складе, будут распределены по всему Парижу. Толпы захватили первые грузы сахара, отправленные под военной охраной, и распродали их на улице по цене 25-30 су за фунт. На следующий день женщины ударили в колокол церкви Сен-Марсель и были предприняты попытки взломать двери склада. На место происшествия прибыл мэр Петион с большим военным отрядом, который рассеял бунтующих, а 14 человек отправил в тюрьму Консьержери. Последние вызвали к себе общественное сочувствие, и петицию об их освобождении, направленную в Собрание, подписали 150 жителей квартала; все они были выборщиками, и двое из них - духовными лицами⁶.

Это было первое в столице значительное движение в пользу народной таксации со времени волнений 1775 г. Но его намного превзошли волнения, вспыхнувшие по той же причине в феврале 1793 г.⁷ Цепы, упавшие летом и осенью, вновь повысились после Нового года. В феврале цена на сахар вновь удвоилась, а цена на кофе поднялась с 34 до 40 су, на мыло - с 12 до 23-28 су и на сальные свечи - с 15 до 18,5-20 су. Следствием этого явился взрыв народного гнева, гораздо более сильный, чем сахарные бунты предыдущего года. Возмущение охватило почти все 48 парижских секций, и оно яснее, чем какое-либо другое революционное событие, подчеркнуло основное противоречие интересов простого народа и имущих классов, включая демократов, выступавших и

рукоплескавших речам в Якобинском клубе или сидевших вместе с Горой на верхних скамьях Собрания. 23 февраля в Конвент явились две делегации женщин; одна из них (во главе с прачками) жаловалась на цену на мыло. Через два дня вспыхнули бунты. Начались захваты всех бакалейных и свечных лавок и принудительное снижение цен до уровня, продиктованного восставшими. Чаще всего сахар-рафинад продавали по цене 18-25 су, простой сахар - 10-12 су, сальные свечи-12 су, мыло - 10-12 су и кофе - 20 су. Начавшись в 10 часов утра в центральном торговом квартале, движение с удивительной быстротой охватило все районы города. Распространяясь на восток, оно достигло ратуши вскоре после 10 часов, бывшей Королевской площади - в полдень, секции арсенала - в два часа дня, секции Прав человека - в три часа, секции Кенз-Вен в Сент-Антуанском предместье - между тремя и четырьмя часами, секций Монрей и Марэ - в четыре часа. Тем временем, распространяясь на север, оно достигло секции Друзей отечества в два часа тридцать минут и секций Бонди и Мон-Блан - в пять часов. На западе оно охватило секцию Французской гвардии в два часа двадцать минут, секцию Лувр - в четыре часа, секцию Пале-Рояль - в семь часов, секцию Тюильри - в восемь часов и секцию Республики (называвшуюся так ранее, а теперь - Руль) - в десять часов вечера. Из секции Тюильри движение, по-видимому, перебросилось на другой берег реки, так как между восемью и девятью часами вечера волнения возникли на левом берегу в секции Гренельского фонтана. На следующий день в ряде секций возникли мелкие вспышки волнений. В них участвовали рыночные торговки из центра и прачки с улицы Бьевр предместья Сен-Марсель. Командующий национальной гвардией Сантер, находившийся 25 числа в Версале, рано утром мобилизовал свои силы и положил конец движению. Это была далеко не последняя крупная волна продовольственных бунтов во время революции. Подобные волнения возникали, хотя и в меньшем масштабе, в Париже и в других местах осенью 1794 г., а в 1795 г., когда в провинциях был почти голод, продовольственные бунты и социальные конфликты достигли такой силы, которая едва ли наблюдалась в 1789 г.⁸ Но эти события 1792 и 1793 гг. послужат нам, как и многие другие, иллюстрацией размеров и характера продовольственных волнений революционного периода. Были ли они лишь повторением при изменившихся обстоятельствах прежних волнений XVIII в., таких, как волнения 1775 г., или они имели новую отправную точку? И если имели, то какую?

Несомненно, что форма и внешнее проявление этих бунтов и выбор ими жертв были такими же, как двадцать лет назад. Распространение волнения в провинции Бос хотя и не было вполне идентичным, но очень напоминало волнения 1775 г. Состав участников был такой же: среди 62 арестованных за участие в бунте в департаменте Сена-и-Уаза и 117 - в департаменте Эр были бедняки крестьяне, поденщики и деревенские ремесленники, и среди них находилось несколько арендаторов, священников и деревенских землевладельцев⁹. Кроме того, систематическое принудительное установление контроля цен во время бунта и в Париже и в Босе отвечало традиции народной таксации при старом порядке во Франции. В этом смысле продовольственный бунт времен революции был консервативным и традиционным средством, которое, продолжая древний обычай, было обращено скорее назад, а не вперед и радикально не отличалось от бунтов прошлого. Участники этих бунтов одинаково верили, что их дело не только правое, но и санкционировано властями. В Вибрэ в ноябре 1792 г. восставшие настаивали на проведении в жизнь декрета Конвента¹⁰ почти так же, как в 1775 г. бунтовщики были убеждены в личном вмешательстве короля, чтобы цена на пшеницу и хлеб была снижена.

Тем не менее, хотя преемственность формы выступлений, характера и поведения бунтующих поразительна, достаточно очевидно, что политический климат и умонастроение народа сильно изменились после 1789 г. Во время волнений 1775 г. не отмечалось особой враждебности к двору и знати. К королю относились с почтением, а сеньор попадал в число жертв только в том случае, если он имел доступный избыток зерна. В Босе в 1792 г. главной мишенью все еще были крупные арендаторы и землевладельцы, так же хорошо там известные, как в Иль-де-Франсе, Бове и Бри. Революция обострила, а не сгладила антагонизм между крупными производителями и мелкими потребителями. Свидетельств особой враждебности к деревенскому дворянству существует мало: был разрушен только один замок, и слово «аристократ», так часто произносившееся во время бунтов, относилось прежде всего к новым богачам в крестьянской и городской общинах. Однако существовали политические, «патриотические» и антироялистские подводные течения и сопутствующие явления (особенно во время волнений в ноябре 1792 г.), которые совершенно отсутствовали в волнениях прошлого. Переходившие с места на место группы маршировали под крики «Да здравствует нация!» и объявляли сельским и городским жителям, что они их «братья и освободители». В Блуа участники этих групп разорвали знамена национальной гвардии, на которых были изображены королевские лилии, а близ замка Менар сбросили статую Людовика XV. В Амбуазе они провозгласили лозунг: «Долой умеренных, роялистов и администраторов, врагов народа и да здравствуют санкюлоты!»¹¹ Так, отголоски 1789 г. и, более того, патриотическая война и движение санкюлотов 1792 г. придавали особую остроту бунтам, основные цели которых все еще оставались целями городской и деревенской бедноты при старом порядке.

В Париже бунты 1793 г. против бакалейщиков также имели по меньшей мере политический оттенок. Нельзя сказать, чтобы происхождением своим они были обязаны, как и бунты в провинции Бос, тайной клерикальной или аристократической интриге. В обоих случаях критика, направленная против участников бунтов, будь то в Парижском городском совете, в Якобинском клубе или среди партий Конвента, с готовностью приписывала их действия контрреволюционному заговору. Хотя Робеспьер и отказался осудить убийц Симоно в Этампе, он выразил удивление, что парижане могли быть настолько введены в заблуждение, чтобы взбунтоваться из-за «жалких бакалейных товаров». Барер неясно высказался о «коварных подстрекательствах переодетых аристократов» и в доказательство своего мнения указал, что такие «предметы роскоши», как сахар и кофе, едва ли могли быть причиной народного гнева. Эти предположения были далеки от существа дела, хотя и казались достаточно разумными людям, уверенным в наличии «аристократического заговора», или тем, кому всякое вмешательство в свободную торговлю продовольствием представлялось отрицанием «свобод», провозглашенных революцией. Но некоторые критики были ближе к истине, когда винили в беспорядках в Париже Жака Ру, «красного священника» из секции Гравилье и его сторонников - «бешеных», единственную политическую группу в столице, которая открыто одобряла регулирование цен и снабжения. Ру был членом Городского совета и утром 25 февраля произнес речь в защиту участников бунта. Более того, в секции Ру начались волнения. Из этого легко можно было заключить, что он не только инспирировал бунты, но и подстрекал к ним и играл в руководстве ими активную роль. Французский историк Матьез поддерживает эту точку зрения. Фактически трудно установить на основании документов какую-либо прямую связь между Жаком Ру и бунтовщиками. Однако весьма вероятно, что мнения, высказанные им и его сторонниками, должны были вызвать активную реакцию среди рабочих рынка, ремесленников и лавочников в секции, где он жил и работал¹².

Быть может, гораздо важнее то, что эти движения добивались значительного успеха и, несмотря на все свои связи с прошлым, способствовали возникновению чего-то нового. Таким новым был закон о всеобщем максимуме от 29 сентября 1793 г. Установив потолок цен на большинство предметов первой необходимости (включая заработную плату), он пошел гораздо дальше, чем частичное регулирование цен при старом порядке. Максимум, существовавший в ослабленной форме пятнадцать месяцев, имел долгую подготовительную историю. Он был результатом идей горстки памфлетистов, народного давления и необходимости военного времени; из них два последних обстоятельства были несравненно более важными, чем первое. В 1789 г. во многих наказах предлагалось построить муниципальные зернохранилища и устанавливать заработную плату в зависимости от цены на хлеб. В 1790 г. два парижских памфлетиста Рютледж и де Шайон предложили государственное регулирование цен на зерно и муку. В Лионе муниципальный чиновник Ланж настаивал на том, чтобы государство скупило по твердым ценам весь урожай и для его хранения построило 3 тыс. зерноскладов. В Орлеане Табуро призывал к введению максимума, а Верньо поддерживал идею создания сети государственных пекарен, строгого контроля цен, основанных на скользящей шкале, и надзора над всеми булочниками и мельниками. Нечто в этом роде возникло в Лионе, когда его недолговечная радикальная Коммуна весной 1793 г. муниципализировала снабжение города хлебом (то есть передала его в ведение муниципалитета)¹³. Под воздействием волнений 1792 г. некоторые местные власти, включая власти Орлеана и Тура, предлагали установить потолок цен на зерно; по большинство твердо держалось мнения, что благосостояние возможно только при свободном рынке. Таково, как правило, было и мнение Собрания. Учредительное собрание своими декретами от 29 августа и 18 сентября 1789 г. отменило старые регулирующие торговлю постановления и восстановило (даже более полно, чем Тюрго в 1774 г.) свободу торговли зерном и мукой. В сентябре 1792 г., после первой волны бунтов этого года, Конвент согласился восстановить старые регулирующие постановления, но отказался рассмотреть вопрос о всеобщем контроле цен.

Однако тем временем нужды войны, а также требования мелких потребителей заставили якобинцев изменить свои взгляды прежде, чем они могли вступить в 4-й день Собрания из Лиона. Парижский Конвент, установив максимум для цены на хлеб и муку. Но это был только первый шаг. Эта мера так же не удовлетворила мелких потребителей и их представителей, как и не помогла разрешить становившиеся все более срочными проблемы военных поставок. Участники бунтов 1792 г., в отличие от бунтовавших в 1775 г., уже расширили свое требование «таксации» далеко за пределы установления цен на предметы первой необходимости - пшеницу, хлеб и муку. В Париже они заставили установить контроль цен на сахар, мыло, кофе, свечи, мясо и вино, а в провинции - на овес, мыло, масло, яйца и даже на деревянные башмаки, лес, уголь и железо. Тем временем цены продолжали расти, а стоимость ассигната - падать, с 36% его номинальной стоимости в июне она упала в августе до 22%. В том же месяце Конвент принял декрет о массовом ополчении, согласно которому к оружию призывалось три четверти миллиона

человек. Жак Ру и его «бешеные» с января вели кампанию за введение общего максимума, и в начале сентября их призыв был подхвачен почти всеми парижскими секциями. Максимум громко требовала многочисленная демонстрация санкюлотов, сопровождавшая 5 сентября Эбера и других муниципальных вождей в Конвент для предъявления их требований. Наконец три недели спустя под тройным давлением - доводов, необходимости и бунта - Конвент уступил и временно отказался от своих либеральных принципов и путем всеобщего максимума начал проведение далеко идущей программы экономического контроля.

Хотя максимум был сравнительно недолговечным, он представлял собою важную стадию между ограниченным регулированием при старом порядке и всеобъемлющим государственным руководством экономикой в будущем. Этому способствовали санкюлоты - как в силу инстинкта и опыта, так и благодаря усвоенным ими новым политическим принципам. В этом смысле продовольственные бунты времен революции, хотя в их основе и лежали традиционные образцы, и они провозглашали традиционные требования, тем не менее, если их рассматривать в перспективе, равно как и в ретроспективе, обнаруживают определенное развитие и историческое значение, далеко превосходившие бунты прошлого.

Ссылки на источники

1. См. мою работу «The Crowd in the French Revolution», p.31, 42-43, 63, 200-209.
2. Rose R. B. 18th-Century Price-Riots, the French Revolution and the Jacobin Maximum, *International Review of Social History*, III, (1969), 432-445.
3. О ценах на продовольствие и о заработной плате в Париже в 1789 г. см. мою статью «Prices, Wages and Popular Movements in Paris during the French Revolution», *Economic History Review*, VI, 3 (1954), 246-267.
4. Mathiez A. La vie chere et le mouvement social sous la Terreur (Paris, 1927), p.50-109.
5. Mathiez A., Ibid., p.62-66, 103-106; Vovelle M. Les taxations populaires de fevrier-mars et novembre-decembre 1792 dans la Beauce et sur ses confins, *Memoirs et documents*, XIII (Paris, 1958), 107-159.
6. См.: «The Crowd in the French Revolution», p.95-98.
7. Ibid., p. 1M-118. Для более полного ознакомления см. мою статью: «Les emeutes des 25, 26 fevrier 1793 a Paris», *Annales historiques de la Revolution francaise*, Jan.-March 1953, p.303-357.
8. О голоде, продовольственной проблеме и волнениях 1795 г. и в начале 1796 г. см. статьи Ричарда Кобба: «Les disettes de l'an II et de l'an III dans le district de Mantes et la vallee de la Basse Seine», *Memoires de la Federation des societes historiques et archeologiques de Paris et de l'Ile-de-France*, vol. III, Paris, 1954, p.227- 251; «Problemes de subsistances de l'an II et de l'an III. L'exemple d'un petit port normand: Honfleur», *Actes du 81^e Congres des societes savantes, Rouen-Caen*, 1956 (Paris, 1956), p. 295-335; «Les journees de germinal an II dans la zone de ravitaillement de Paris», *Annales de Normandie*, nos.3-4. Oct.-Dec. 1955, p.233-260; «Une emeute de la faim dans la banlieue rouennaise: les journees des 13, 14 et 15 germinal an II a Sotteville-les-Rouen», *ibid.*, 2, May 1956, p.151- 157; «Disette et mortalite: la crise de l'an III et de l'an IV a Rouen», *ibid.*, nos.3-4, Oct.-Dec. 1956, p.267-291.
9. Vovelle. Op. cit, p. 139-140.
10. Ibid., p.137.
11. Ibid., p.153, 157-158.
12. Mathiez. Op. cit, p. 139-161. См. мою статью, указанную в прим. 7, с.53-54.
13. Rose R. B. The French Revolution and the Grain Supply, *Bulletin of the John Rylands Library*, XXXIX, i (Sept. 1956), 171-187.

3. Трудовые конфликты

Накануне революции Франция была второй после Англии промышленной страной. Со времен Кольбера появились крупные мануфактуры, находившиеся под покровительством государства. Построенные по английскому образцу металлургические заводы Крезо имели акционерный капитал в 10 млн. ливров. На шахтах горной компании в Анзене было занято 4 тыс. рабочих, и к 1791 г. там имелось двенадцать паровых двигателей, поставленных Бултоном и Ваттом. Французская текстильная промышленность соперничала с английской. 60 тыс. рабочих были заняты на мануфактурах Руана и Лилля, 20 тыс. - в Эльбефе и 14 тыс. - в Седане. В Абевиле только на принадлежавших Ван Робе фабриках было занято 12 тыс. рабочих; в Лионе, крупном центре шелкоткацкого производства, жили и работали 58 тыс. шелкоторговцев, рабочих и подмастерьев. Даже в Париже, где были развиты преимущественно мелкие ремесла, в 1791 г. насчитывалось пятьдесят мануфактур, в которых работало от 100 до 800 рабочих в каждой.

Однако во Франции еще не начался промышленный переворот, как в Англии. Механизация находилась в стадии младенчества, не было фабричных городов и современного фабричного населения. Помимо железоплавления, шахт, строительных площадок и городских мануфактур (являвшихся модификацией работы на дому), в промышленности были главным образом заняты работавшие на дому ткачи и прядильщики или ремесленные мастера со своими подмастерьями в мелких средневекового типа городских мастерских. В них, за исключением некоторых «свободных» или «открытых» районов (как Лион и частично Париж), число рабочих строго регулировалось гильдиями. Подмастерье часто жил в доме своего хозяина, ел с ним за одним столом и даже (хотя в 1789 г. редко) женился на его дочери или вдове. Поэтому между хозяином и работником часто не существовало четкого различия. Имелись сезонные строительные рабочие и горняки, которые по окончании сезона возвращались на фермы; существовали лионские мастера и орлеанские мастера, «работавшие сдельно», и были подмастерья, стремившиеся стать мастерами или даже, оставаясь подмастерьями, сами пользовавшиеся наемным трудом. Вследствие этого работавшие по найму отличались слабым самосознанием и не отдавали себе отчета в том, что они представляют собою отдельный общественный класс; неудивительно, что только в немногих наказах, составленных в канун революции наемными рабочими, содержатся требования, отличающиеся от требований их хозяев¹.

И все же рабочий все острее и лучше сознавал свое экономическое положение. Старая средневековая гильдия, некогда созданная для защиты всех своих членов, занимающихся данным ремеслом, пришла в упадок. Она перестала защищать подмастерьев, все больше низводившихся к положению наемных рабочих, не имевших почти никаких шансов стать когда-нибудь мастерами. Многие мелкие мастера в свою очередь обнаружили, что их материальные интересы все более расходятся с интересами купца, владельца мануфактуры, который доставлял им работу и сдельно оплачивал их и занятых у них рабочих. Лишенные покровительства гильдии подмастерья искали прибежища в собственных ассоциациях, создаваемых для защиты своих интересов (компаньонажи). Наиболее известные из них - «Devoirs de Liberte» («Союз свободы») и «Compagnons du Devoir» («Союз подмастерьев»), обычно называвшиеся просто «Gavots» и «Devorants», - организовывали плотников и строительных рабочих, странствовавших по Франции, вели переговоры о заработной плате, находили рабочие места и иногда руководили стачками. Фактически стачки учащались по мере того, как на протяжении всего столетия рост цен постепенно обгонял рост заработной платы; по стачки редко достигали масштабов продовольственных бунтов. Приведем некоторые примеры: в 1724 г. стачка вязальщиков чулок, связанная с вопросом о заработной плате, была прервана из-за ареста вожakov. В 1737 г. в Париже ткачи-подмастерья забастовали, протестуя против новых правил, затруднявших получение звания мастера. В 1750 г. в Ангулеме рабочие-бумажники бастовали четыре месяца, требуя повышения заработной платы. В Париже шляпники вступали в конфликты с работодателями в 1749 и в 1765 гг. и вновь в июне 1789 г. в связи с соперничеством ассоциаций подмастерьев. В 1776 г. в Париже провели всеобщую забастовку переплетчики, требуя 14-часового рабочего дня. Наиболее крупным конфликтом в столице до революции была стачка 1786 г., в которой одновременно участвовали плотники, кузнецы, слесари, пекари и каменщики. В том же году грузчики и возчики, бастуя в знак протеста против монополии, установленной соперничавшими с ними фаворитами двора, двинулись в Версаль для подачи петиции королю. Но из всех этих конфликтов наиболее энергичными и ожесточенными были не стачки рабочих или подмастерьев, а выступления лионских мастеров против торговцев шелком в 1744, 1779 и 1788 гг. Последние два выступления приняли характер восстаний, выступление 1788 г. имело исключительный результат: в 1789 г. торговцев фактически изгнали из избирательных собраний гильдии и очистили поле действия для мастеров, получивших возможность продиктовать указы представителей шелковой промышленности².

Кроме забастовок в Лионе, переросших в восстания, эти конфликты почти не сопровождались насилием или кровопролитием. Это кажется тем более удивительным, если вспомнить, что происходило в это же время у горняков, грузчиков угля и ткачей в Англии. Правда, некоторые французы, как и англичане, ожесточенно сопротивлялись техническим новшествам, которые, как им казалось, грозили лишить их средств к жизни. В наказах и петициях 1789 г. содержатся многочисленные требования мастеров и подмастерьев, иногда даже купцов, «полностью уничтожить» новые механические устройства, многие из которых (подобно прядильной машине) ввозились из Англии. В Нормандии, где английская конкуренция со времени заключения в 1786 г. договора о свободе торговли вызвала тяжелую безработицу, рабочие перешли от слов к делу. В ноябре 1788 г. в Фалезе прядильщики разбили ткацкие станки. В июле 1789 г. (как раз в день падения Бастилии) машины были уничтожены в Руане, а полгода спустя Артур Юнг в красноречивых выражениях жаловался на полное уничтожение прядильных машин рабочими хлопкопрядильных фабрик Лувье «под влиянием идеи, что применение таких машин противоречит

их интересам»³. Угроза подобных волнений существовала при Наполеоне; они часто возникали при Реставрации и в первые годы правления Луи Филиппа, о них сообщалось даже в 1848 г.⁴ Быть может, поэтому еще более удивительно, что другой (более обычный в Англии) тип «луддизма», названный Хобсбомом «коллективными переговорами посредством бунта», совершенно отсутствовал в этих конфликтах*. Это обстоятельство подчеркивает книготорговец-мемуарист Арди при описании бунтов против Ревейона в апреле 1789 г. (вероятно, не бывших по существу рабочим конфликтом). Отметив ущерб, нанесенный дому и имуществу Ревейона, он добавляет: «Все здание было опустошено, за исключением мастерских и товарного склада»⁵. Если это не простая случайность, то довольно значительное упущение. Но почему это должно было произойти - тайна, которую я не могу разгадать.

Во время революции трудовые конфликты были не такой примечательной особенностью общественной жизни, как продовольственные бунты, но и о них было известно. В Париже происходили довольно значительные выступления рабочих или движения за повышение заработной платы в 1789, 1791 и 1794 гг. Первое, происшедшее в августе-сентябре 1789 г., было не просто движением за повышение заработной платы, так как оно возникло в связи с некоторыми вопросами, непосредственно связанными с революционным кризисом летом того года. Во время этого выступления многие лавки закрылись. Особенно пострадали от первой большой волны эмиграции ремесла по изготовлению предметов роскоши. За первые два месяца после падения Бастилии Неккер выдал 20 тыс. паспортов. Среди рабочих, которых это коснулось, были пекари, парикмахеры, сапожники, аптекари и домашняя прислуга. Движение началось 14 августа, когда безработные подмастерья пекарей, устроив шествие, явились в ратушу просить работы. Им обещали удовлетворить их требования, и они быстро разошлись. 18 августа тысяча подмастерьев-портных собралась у Лувра и потребовала повышения заработной платы на 10 су. Они послали депутацию в ратушу, и позднее им удалось убедить хозяев удовлетворить их требование. Изготовители париков, принадлежавшие, как и слуги, к наиболее явным жертвам кризиса, искали выхода в реорганизации своей биржи труда. Четыре тысячи их собралось на Елисейских полях, где у них произошла стычка с национальной гвардией; но в ратуше их приняли, устроили им встречу с хозяевами и составили новый договор.

Другие рабочие не добились такого успеха. И сапожникам, и аптекарям, требовавшим повышения заработной платы, запретили устраивать собрания, и они были вынуждены отказаться от своих требований. Требования слуг имели отчасти политический, отчасти экономический характер; они были вызваны событиями 1789 г. 400 человек собрались в Пале-Рояле и послали депутацию из 40 представителей просить муниципальные власти предоставить им полные гражданские права, право присутствовать на собраниях районов и вступать в национальную гвардию (и то и другое им запрещалось, поскольку они находились в подчиненном положении) и ввиду безработицы запретить савоярам заниматься их профессией. Их убедили мирно разойтись, и они не осуществили своей угрозы собрать на следующий день на Елисейских полях 40 тыс. человек. Но Коммуна отвергла все их требования. Она проявила мало сочувствия ко всем этим движениям. Приняв 7 августа декрет, запрещавший все «мятежные» собрания, она была склонна строго применять его во всех подобных ситуациях. Первая волна конфликтов не получила большого отклика, но по крайней мере некоторые рабочие поняли, что в вопросах заработной платы и условий труда они не должны ждать от новых властей большего понимания, чем от старых⁶.

Это вновь подтвердилось весной и летом 1791 г., когда были затронуты интересы значительно большей группы рабочих. На этот раз началось движение исключительно за повышение заработной платы, и, так как цены в то время были сравнительно низкими и устойчивыми, вопрос о снабжении продовольствием или о ценах на него не поднимался. Заработная же плата очень мало повысилась с начала революции; хотя в производстве предметов роскоши безработица продолжалась, в других отраслях ощущался недостаток рабочей силы, и момент был удобен для того, чтобы добиваться повышения оплаты труда. Первыми выступили поденно работавшие плотники. В апреле они предъявили хозяевам требование установить минимальную дневную плату в размере 50 су. Это было подготовленное движение, и оно не ограничивалось Парижем. Мы знаем, что в апреле представители «Союза подмастерьев» в Аране-ле-Дюк, департамент Кот д'Ор, отправились в столицу для участия в собрании плотников; и несколько недель спустя парижские плотники призывали орлеанских плотников последовать их примеру⁷. Они получили некоторую поддержку и от демократов из Клуба кордельеров. В зале клуба они собирались, и «Братский союз» плотников (в отличие от «Союза подмастерьев» он был легальной организацией), руководивший их кампанией, фактически был связан с клубом через промежуточную организацию, именовавшуюся Центральным комитетом. Марат в своей газете «Друг народа» помещал корреспонденции рабочих и в начале июня опубликовал письмо, якобы написанное 560 строителями рабочими, занятыми на строительстве церкви Сент-Женевьев

(будущий Пантеон); в письме хозяева-строители назывались «невежественными, хищными и ненасытными угнетателями». Имея такую поддержку, плотникам удалось убедить главную массу подрядчиков согласиться на их условия. Но активное меньшинство не согласилось с этим и заявило протест Собранию. Для вынесения третейского решения был созван **Клуб де Колюмбы**, который, далеко не одобрив рабочих, осудил ассоциацию плотников как незаконную, отверг их предложение об установлении минимальной заработной платы как противоречащее принципам свободы и даже триггером для возбуждения судебного преследования против их вожakov как нарушителей спокойствия. Однако им было разрешено продолжать собираться, хотя мэр Байи приказал строго за ними наблюдать, опасаясь, что примеру плотников могут последовать рабочие других профессий.

И он не ошибся. За движением плотников быстро последовали движения шляпников, типографов и других рабочих. К началу июня развернулось широкое движение, и хозяева кузниц обратились к Собранию с петицией, в которой предупреждали о существовании коалиции 80 тыс. парижских рабочих, куда, по их словам, входили столяры, сапожники, слесари, а также их подмастерья. Хотя эти цифры вполне могли быть преувеличены, Собрание испугалось и заявило, что, помимо угрозы общественному порядку, рабочие посредством своих «коалиций» незаконно восстанавливали гильдии и подобные им недавно распущенные «корпоративные» организации. И Собрание ответило на петиции хозяев кузниц и плотников принятием знаменитого закона Ле Шапелье, объявлявшего незаконным все рабочие коалиции, объединения и профессиональные союзы и грозившего бастующим рабочим судебным преследованием. Примечательно, что не кто иной, как Марат (по совершенно особым причинам), протестовал против такого решения, рабочие согласились с ним, и демократы не выдвинули никаких возражений. Даже во время расцвета якобинской демократии не было сделано попытки отменить этот закон; и он оставался в силе почти сто лет. Это, несомненно, было важнейшим из всех последствий движения плотников, хотя поддержка, оказанная им Клубом кордельеров, имела большое значение. Такие союзы были редки даже во время революции⁸. Рабочее движение 1794 г. имело еще более примечательные результаты, так как сыграло важную роль в событиях, которые привели в термидоре к свержению Робеспьера⁹. Для понимания характера возникшего тогда конфликта нам придется вернуться к сентябрю 1793 г. Именно тогда, как мы отметили в предыдущей главе, Конвент, где господствовали якобинцы, принял закон о всеобщем максимуме. Вспомним, что он предусматривал и потолок цен, и потолок заработной платы. Цены разрешалось поднимать на одну треть по сравнению с ценами в июне 1790 г., а заработную плату - наполовину. Следовательно, теоретически закон был благоприятен для рабочих, ибо заработная плата, как «реальная», так и денежная, была бы повышена; но, разумеется, многое зависело от того, насколько заработная плата уже возросла, и от того, кто должен был осуществлять этот закон. В некоторых районах страны (по крайней мере до июня 1793 г., когда правительство начало расследовать этот вопрос) заработная плата намного отставала от цен, в других - больше повысилась заработная плата; и, вероятно, подобное положение, хотя это и трудно доказать, существовало в Париже. Действительно, один из вожakov якобинцев, Тирион, заявил в начале сентября в Конвенте, что заработная плата парижан поднялась «значительно выше, чем цены на потребительские товары». Даже если это было не совсем так, наемные рабочие, несомненно, значительно выигрывали от вступления в силу закона в течение ближайших месяцев. Вначале постановления, касавшиеся цен на товары, повсюду вводились принудительно, в одних районах строже, чем в других. Производителям, оптовым торговцам и лавочникам, не желавшим подчиниться, местные «революционные» комитеты и комитеты по борьбе со спекуляцией мрачно напоминали о карах за нарушение закона, и для обеспечения снабжения столицы в зерновые районы была послана «революционная армия». Поэтому цена на контролируемые товары снизилась до установленного законом максимума, и инфляция была приостановлена. Действительно, между августом и декабрем стоимость ассигната поднялась (по сравнению с 1790 г.) с 22 до 48%.

На этом этапе парижские наемные рабочие, выигравшие, как и все мелкие потребители, от контроля цен, получили двойное преимущество, так как Коммуна, отвечавшая за вступление в действие статьи закона о заработной плате, казалось, не торопилась ее вводить. Так было далеко не везде. Во многих районах Франции, особенно сельскохозяйственных, власти стали поспешно и строго применять закон о заработной плате рабочих и часто проявляли гораздо больше усердия при контроле заработной платы, чем при контроле цен. И правительству порой приходилось вмешиваться, чтобы оградить рабочих от «чрезмерного эгоизма» крупных производителей и их комитетов. Но в Париже, скорее, существовало обратное положение. Париж был крупнейшим центром радикальной народной демократии и обладал своими боевыми традициями. Санкюлоты прочно укрепились в Коммуне и секциях. И среди них люди, работавшие по найму, хотя они и пользовались меньшей политической известностью, чем лавочники и хозяева мастерских, составляли наиболее многочисленную социальную группу. Кроме того, до марта 1794 г. в

Парижской коммуне господствовали Эбер и его сторонники, которые, не сочувствуя открыто движениям за повышение заработной платы**, искали у санкюлотов политической поддержки. Поэтому постановления о заработной плате оставались неосуществленными. В результате, поскольку это был период военной мобилизации и нехватки рабочей силы, заработная плата повысилась и в начале 1794 г. во многих случаях была вдвое выше, чем в 1790 г. Однако имелось одно важное исключение. В отношении рабочих, работавших по правительственным контрактам, за проведение в жизнь закона отвечал не Совет Коммуны, а Комитет общественной безопасности; и число этих рабочих, особенно в недавно созданных мастерских по производству оружия и снаряжения, росло с каждым месяцем. Сначала Комитет, стремившийся подать пример, установил для этих рабочих ставки, соответствовавшие постановлениям закона. Кроме того, были приняты строжайшие меры с целью удержать рабочих на их местах и предотвратить в мастерских всякую «мятежную» агитацию, связанную с заработной платой. Но ввиду продолжавшегося недостатка рабочей силы правительство было вынуждено отказаться от своих собственных постановлений. В мае 1794 г. были подписаны новые контракты, позволявшие рабочим, занятым на производстве стрелкового оружия, зарабатывать в четыре раза больше, чем в 1790 г.¹⁰

Но подобное положение не могло продолжаться долго. Помимо того что правительство имело свои собственные проблемы, оно находилось под значительным давлением умеренных политиков и крупных производителей. Облеченное широкими полномочиями заколом от 4 декабря 1793 г., оно постепенно приступило к восстановлению равновесия в пользу производителей, к ограничению деятельности санкюлотов и к разгрому левой «эбертистской» оппозиции. В марте контроль над максимумом на цены был ослаблен и цены на большинство важнейших товаров повысились. На парижских рынках вновь начались волнения. В апреле Эбер и его сторонники были арестованы и казнены, Коммуна «очищена» от оппозиционных элементов и многие народные общества, созданные в секциях санкюлотами, закрыты. Итак, были созданы условия для проведения более суровых мероприятий с целью остановить рост заработной платы прежде, чем резко ее понизить в соответствии с законом. 21 апреля, когда депутация рабочих-табачников явилась в ратушу требовать повышения заработной платы, ей в этом отказали, сославшись на закон Ле Шапелье, и пятерых рабочих арестовали. Последовали новые требования повышения заработной платы и стачки штукатуров, пекарей, рабочих свинобоен и портовых рабочих. Коммуна произвела новые аресты и грозила судом рабочим, оставлявшим без разрешения свои рабочие места. В мае все было спокойно, но в июне рабочие-оружейники вновь начали настаивать на своих требованиях. И не только они; мы обнаруживаем, что в это время Барер дал указания прокурору революционного трибунала предавать суду «контрреволюционеров» (Барер очень любил употреблять подобные выражения), подстрекавших рабочих, занятых в производствах ассигнатов, оружия, пороха и серы. К указанным группам рабочих присоединились рабочие других профессий, и в июне-июле повышения заработной платы потребовали строители, гончары и рабочие, занятые по контрактам на разных общественных работах. 7 июля забастовку объявили рабочие-печатники самого Комитета, и трое из них были арестованы.

В разгар всех этих волнений Парижская коммуна решила наконец обнародовать новые ставки заработной платы, действовавшие в столице. Этот злополучный документ буквально повторял закон о всеобщем максимуме и не учитывал последовавшее повышение как цен, так и заработной платы. Он ставил многих рабочих перед перспективой снижения наполовину заработной платы, в то время как цены продолжали расти¹¹. Момент был выбран неудачно, так как политический кризис уже раздирал правительственные комитеты. Через четыре дня после объявления ставок заработной платы Робеспьер и его ближайшие помощники были исключены из Конвента, арестованы и объявлены вне закона и, временно ускользнув от своих преследователей, скрывались у своих друзей в ратуше. В тот же день ратуша была осаждена озлобленными рабочими, протестовавшими против максимума заработной платы; распространился слух, что рабочие восстали «из-за максимума», что они идут к Конвенту и что во время этих беспорядков был убит Робеспьер. Коммуна сделала попытку сманеврировать, возложив вину за установление новых ставок заработной платы на Барера, который после некоторых колебаний присоединился к противникам Робеспьера. Этот маневр не удался. И враждебность рабочих наряду с замешательством и безразличием секций к их делу способствовала той легкости, с какой свергнутых вожakov разоружили и отправили на гильотину. Когда на следующий день советников Коммуны тоже отправили на казнь, рабочие будто бы в знак своего одобрения кричали, когда те проходили мимо: «К черту максимум!»¹²

Из других источников мы знаем, что, по мнению парижских рабочих, устранение Робеспьера и его единомышленников должно было положить конец ненавистному максимуму заработной платы и сделать возможным ее повышение. Какое-то время так и было: новая власть отменила ставки, объявленные 23 июля, и в последовавшей затем прокламации допустила более широкое и гибкое

толкование закона. После этого рабочие вернулись в мастерские. Но новые правители позаботились и о том, чтобы восстановить свободный рынок; и, когда цены повысились, реальная заработная плата стала быстро уменьшаться. В ноябре рабочие-оружейники вновь выдвинули свои требования, и на этот раз Конвент, далеко не склонный идти на уступки, приказал закрыть государственные мастерские. Вскоре после этого инфляция возобновилась. Рабочие-оружейники прекратили борьбу за повышение заработной платы и присоединились к другим санкюлотам, противившимся пагубному повышению цен. Таким образом, преобладающее значение вновь приобрел продовольственный бунт, а не стачка.

Весной и летом 1794 г. существовало сильное движение за повышение заработной платы. Оно было более мощным и распространенным, чем любое другое движение во время революции, и в течение нескольких месяцев привлекло к себе внимание рабочих гораздо больше, чем продовольственные бунты или другие формы социального протеста; и не находясь на периферии политических событий (как находились прежние движения), оно содействовало свержению стоявшего у власти правительства. Но означало ли это начало нового и важного этапа в отношениях между капиталом и трудом? Французский историк Даниэль Герен думает, что да. Он пишет: «Массовое движение приняло современную форму. Прежде чем буржуазия уничтожила последние следы старого порядка, на авансцену выступила классовая борьба между хозяевами и наемными рабочими»¹³. На первый взгляд эта точка зрения может показаться обоснованной. Если мы станем рассматривать события 1794 г. в отрыве от других, нам придется признать, что отныне рабочие были больше заинтересованы в том, чтобы свести счета с хозяевами, а не с торговцами и производителями, и что вопросом первостепенной важности являлась для них заработная плата, а не цены, и что на переднем плане социальной борьбы был уже не продовольственный бунт, а стачка. Однако подобная точка зрения обманчива. Она не учитывает в достаточной мере исключительные обстоятельства, существовавшие весной и летом 1794 г., в чрезвычайно благоприятное время для выдвижения требований о повышении заработной платы. Рабочей силы не хватало, безработицы совсем или почти не было, цены хотя и росли, но стремительной инфляции не наблюдалось, и рабочие мелких мастерских (среди наиболее активных парижских санкюлотов) образовывали более крупные объединения, насчитывавшие 200 и более человек. Ни один из этих факторов не действовал после декабря 1794 г. И когда инфляция и безработица возобновились, рабочие отказались от забастовки и вновь прибегли к традиционной и более знакомой форме социального протеста.

Vive la Liberta

Фактически трудовые конфликты и движения за повышение заработной платы следовали общему образцу движений, возникавших при старом порядке. Они могли быть более распространенными и более длительными; иногда, как в 1791 и 1794 гг., они были связаны с борьбой соперничающих партий. Они могли, как в 1794 г., иметь важные политические последствия, но, как и более ранние движения, обычно возникали во времена устойчивых цен, а когда цены резко повышались, перерастали в продовольственные бунты. Они, разумеется, не были более ожесточенными, и отношения между капиталом и трудом, по существу, не изменялись. Но это не значит, что никаких перемен не происходило и что на будущее не были извлечены важные уроки. Наемные рабочие, как и все, прониклись новыми зажигательными идеями революции и были вдохновлены ими. Несмотря на все уловки и оговорки адвокатов, революционеры (и наиболее решительно якобинцы) провозгласили общие права человека, равенство и достоинство человеческого труда. Эти идеи, проникшие в сознание, не забываются, и в будущем они должны были привести к появлению более настоятельных требований, предъявляемых трудом капиталу. В Англии, где новые идеи получили меньшее распространение и где уже происходил промышленный переворот, отношения между предпринимателем и рабочим вступили в такую фазу развития. Франция же приобретет подобный опыт, причем значительно более сложным путем, в 30-е и 40-е гг. XIX в.

Ссылки на источники

1. См. мою работу: «The Parisian Wage-Earning Population and the Insurrectionary Movements of 1789-1791» (неопубликованная докторская диссертация в 2-х тт., London, University, 1950), I, 111- 33.
2. Ibid., I, 16-20. См. также мою статью: «Les ouvriers parisiens, dans la Revolution Francaise», *La Pensee*, June-Sept. 1953, p.108 ff.
3. «The Parisian Wage-Earning Population», I, 26-27; *Schmidt C.* La crise industrielle de 1788 en France, *Revue Historique* XCVII (1908), 86; *Manuel F. E.* The Luddite Movement in France, *Journal of Modern History*, X, (1938), 183; *Young Arthur.* Travels in France and Italy (Everyman Library, London, 1015), p.134.
4. *Manuel Op. cit.*, p.183-211; *Amann P.* The Changing Outlines of 1848. *American Historical Review*, LXVIII (1963), 941.

5. *Lotte Sophie A.* «I sansculotti; una discussione tra storici marxisti», *Critica Storica*, I (1962), 387-391.
6. *Hardy S.* Mes Loisirs ou journal d'evenements tels qu'ils parviennent a ma connaissance (MS. in 8 vols. Paris. 1764-1789. Bibliotheque Nationale, fonds francais, nos. 6680-6687), VIII, 434, 438-439 455; *Jaffe Grace M.* Le mouvement ouvrier a Paris pendant la Revolution francaise (1789-1791) (Paris, 1927), p.65-73.
7. *Lacroix S.* Actes de la Commune de Paris pendant la Revolution francaise, 2-de series (8 vols. Paris, 1900-1914), III, 700; *Lefebvre G.* Urban society in the Orleanais in the late Eighteenth Century, Past and Present, April 1061, p.618.
8. *Jaffe.* Op. cit. Part II; *Lacroix*, Loc. cit.; The Parisian Wage-Earning Population, I, 178-185.
9. Относительно последующего см. мою работу: Die Arbeiter und die Revolutionsregierung в *Markov W.* (ed.), Maximilien Robespierre 1758-1794 (Berlin, 1958), p.301-322.
10. *Richard C.* Le Comite de Salut publique et les fabrications de guerre sous la Terreur (Paris, 1922), p.699-709, 720.
11. *Rude G.* et *Soboul A.* Le maximum des salaires parisiens et le 9 thermidor. Annales historiques de la Revolution francaise, Jan.-March 1954, p. 1-22.
12. *Aulard A.* Paris pendant la reaction thermidorienne (5 vols. Paris, 1898-1902), I. II.
13. *Guerin D.* La Lutte de classes sous la premiere Republique (1793-1797), (2 vols. Paris, 1946), II, 155.

Примечания переводчика

* В качестве раннего примера Манюэль приводит Бордо, где в 1511 г. бастовавшие землекопы, требовавшие повышения заработной платы, разбили насос (*Manuel F. E.* The Luddite Movement in France. *Journal of Modern History*, X (1938), 180, n.3).

** Так, во время «народного восстания» 4 сентября 1793 г. национальной гвардии было приказано рассеять демонстрацию строительных рабочих, требовавших хлеба и повышения заработной платы.